

84 (2-2411. 2/6

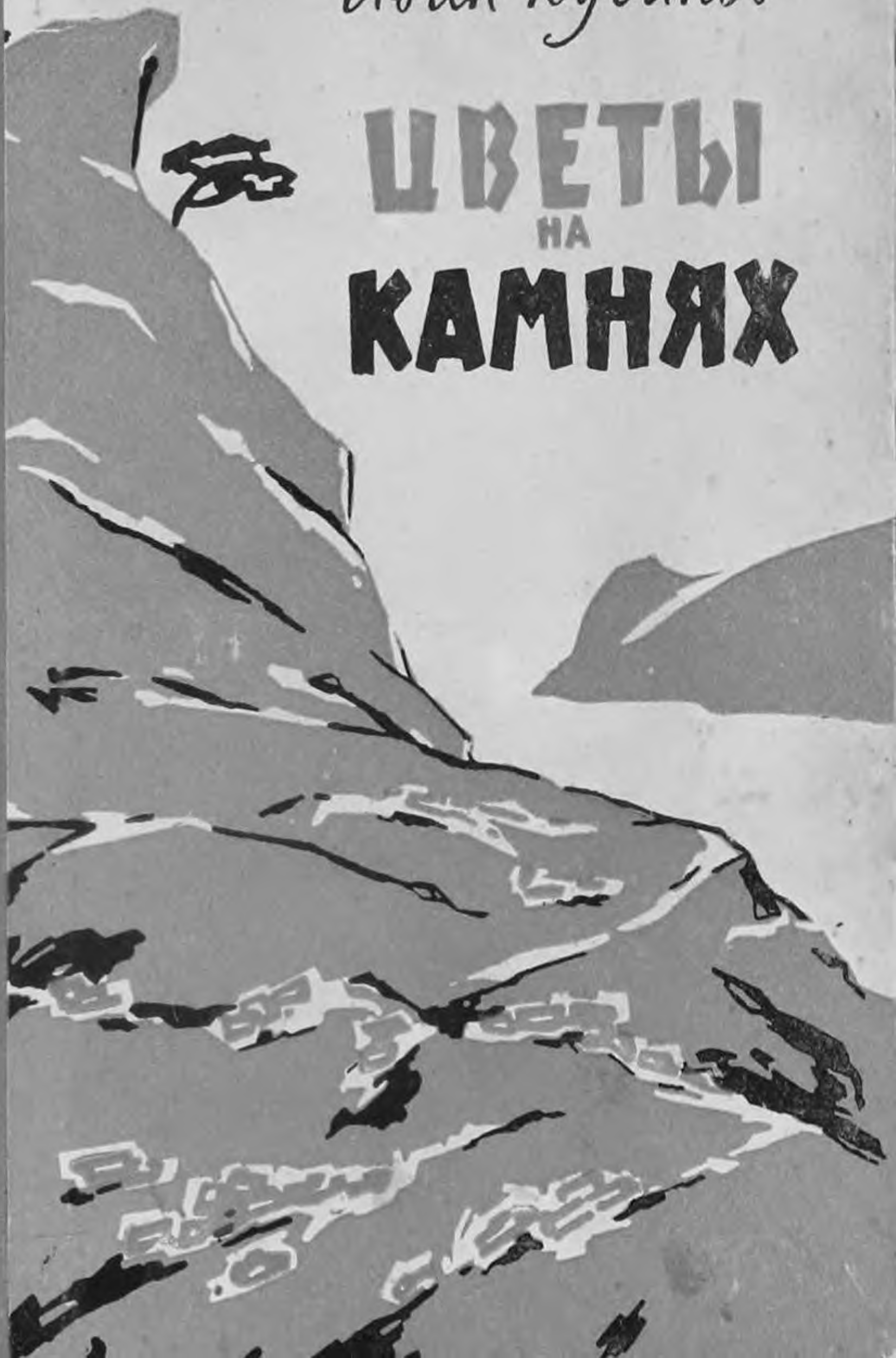
К 8 8 8 8

Иван Рудинов

ЦВЕТЫ

НА

КАМНЯХ



106037 xpo.

Д 2
К 88

Иван Рудинов

**ЦВЕТЫ
НА КАМНЯХ**

РАССКАЗЫ

106037 ✓

0 ✓

Барнаул Алтайская Областная
* БИБЛИОТЕКА *

АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Барнаул 1961

84 (2=411.2/6-4)

К 887

В первой книге Ивана Кудинова «Цветы на камнях» — короткие рассказы и новеллы, разные по содержанию и тематике.

Познакомившись с картинами талантливого алтайского художника Г. И. Гуркина, автор заинтересовался его судьбой. Побывал в Горном Алтае, в селе Анос: там жил и работал художник. Ездил в Ленинград, где в 1898 году на Васильевском острове, в мастерской великого пейзажиста И. И. Шишкина учился Гуркин. Интересные материалы были найдены в научном архиве Академии художеств. Так родился цикл рассказов «Лесной царь».

В коротких рассказах, объединенных в цикл «Цветы на камнях», Иван Кудинов показывает разные стороны жизни и взаимоотношений людей... За частными эпизодами всегда угадывается нечто большее.

Рассказы Ивана Кудинова просты, непритязательны по форме, лиричны.

Первый рассказ был опубликован во флотской газете. Ивану Кудинову 29 лет. Журналист по профессии, он часто находится в разъездах, живет делами и думами своих героев.

Б-К и П-У И К

Лесной
царь



ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Шишкин лежал на кровати, как сломанный ветром старый дуб... Лохматая голова. Огромные жилистые руки. Строгое лицо и напряженно сдвинутые над переносьем густые брови.

Доктор Рейфус долго выстукивал грудь художника, прикладываясь к трубочке маленьким красным, будто озябшим ухом.

— Ну, что там слышно? — спросил Шишкин, скосив глаза на доктора. Рейфус пропустил мимо ушей едкие слова и стал ощупывать ногу художника.

— Здесь больно? Так. А здесь? Так-так... — Он выпрямился, стремительным движением поправил пенсне и ласково заговорил:

— Дорогой Иван Иванович, вам непременно лежать надо. Не-пре-мен-но! — по слогам, точно диктуя, повторил он.

— Не по мне это, Антон Викторович.

Шишкин вздохнул и устало закрыл глаза. Усталость исходила от безделья — в этом художник был твердо убежден. Пять дней не брать в руки кисть! Постельный режим...

Когда заболела нога, Иван Иванович не придавал этому значения. Думал обойдется. Но боль обострилась, и через два дня он с трудом ходил. Отставной поручик, живший по соседству, посоветовал пить настойку из трав. Шишкин и сам подумывал об этом и даже составил рецепт — были тут корни почти всех окрестных трав... Иван Иванович, посмеиваясь, говорил любезному поручику: «Чтобы эффекта больше». Вскоре лекарство было готово. По три чайной ложки три раза в день. Дрянь невообразимая. А улучшения не было. Теперь при всем желании он уже не мог скрыть свои недуги.

— Ну и запустили же вы ногу, батенька! — говорил доктор. — Постыдно запустили. И сердце разболтали этой... как ее, с позволения сказать, настойкой. Вот и лежите теперь. Поменьше движений. Покой, и только покой!.. Забываем о возрасте своем часто. Да, забываем, дорогой Иван Иванович. А годы, они берут свое. Даже деревья падают, даже скалы рушатся... А?

Доктор выпрямился и коротким, стремительным движением поправил пенсне.

— Завтра еще наведаюсь.

— Пожалуйста, Антон Викторович, — равнодушно сказал Шишкин. — Куся, попотчуй-ка доктора чаем.

— Нет, нет, благодарствую. Мне пора... — заторопился Рейфус, но, вспомнив о чем-то, вернулся к кровати.

— Один вопрос к вам, Иван Иванович... Помните анкетку в «Петербургской газете»?

Вопрос был неприятный и неожиданный,

Шишкин мрачно посмотрел на доктора и, стараясь быть вежливым, сказал:

— Пустяки.

— Н-да... а все-таки?

— Вспоминать не хочется. Отвратительный факт... — поморщился Иван Иванович не то от боли в ноге, не то от неприятных воспоминаний о злосчастной анкете.

...Весной 1893 года Шишкин ездил в Беловежскую пушу. Надеялся написать хорошие этюды. Но дурная погода помешала работать. Художник отправился в Дудергоф. И там его ждала непогода. Хлестали дожди. Целыми днями Шишкин сидел у окна, лепил из хлебного мякиша фигурки и наблюдал, как солдатушки месят сапогами грязь на Красносельском поле.

Кроме хандры, в Петербург ничего не привез. Продолжал бездельничать. Считал, что ничего достойного уже не сможет сделать, и с грустью говорил: «Нынче на выставку ничего не дам...» Увлёкся французскими уголовными романами. Вот в таком духе и застал его репортер из «Петербургской газеты».

— Извините, — сказал Рейфус, — меня интересует это в несколько ином плане. В сущности, один пункт. Помните: «Пища и напитки, которые предпочитаю»?

Не догадываясь еще, к чему клонит ласковый и хитрый старичок, Шишкин вспомнил:

— Рыба, водка, хороший квас, иногда пиво...

— Совершенно точно! — обрадовался доктор, словно решив невесть какую сложную задачу. И решительно заключил: — Советую вам исключить водку и пиво. Навсегда! Ну, желаю вам здравствовать.

Доктор ушел. Шишкин позвал дочь и попросил открыть окно.

— Прохладно же, осень на дворе... — осторожно возразила Куся. Иван Иванович привлек Кусю одной рукой, и она уткнулась лицом в его густую седеющую бороду. Пятнадцать лет дочери. Взрослой становится. Пятнадцать лет живет Шишкин без жены, без друга и умного советчика.

Иван Иванович гладил мягкие волосы дочери и говорил:

— Дряннуха ты моя... Ну, открой окно. Посмотри, солнце какое... Летнее!

Куся открыла окно. Свежий воздух занес в комнату запах хвои и увядающих под окном поздних цветов. Вид за окном напоминал картину в раме. Березы стояли в желтых подпалинах, а тонкие осины полыхали багровым пламенем. Ветер раздувал пламя и сыпал на землю листья-искры... Удивительно погожей и яркой была эта осень. Лисьими шкурками пестрели лесные полянки, тонкие кружева прозрачной и липкой паутины носились в воздухе...

Но Шишкин любил сосну, скромную, неизменную в своем наряде, могучую русскую сосну. Ей посвятил художник сотни картин и этюдов. Даже свою знаменитую «Рожь» не смог он написать без сосны. Говорят, что в первоначальном варианте картина была проще — дорога, утонувшая во ржи, крутобокие облака, фигуры крестьянок вдали... Шишкину не понравилась картина. Недоставало в ней чего-то, слишком скучным, серым, придавленным получился пейзаж.

— Убого! — сердито говорил Иван Ивано-

вич и никак не мог понять, чего недостает в картине.

Художнику снилась рожь. Солнце переливалось желтыми бликами, роса сверкала на крепких литых колосьях... И над всем этим величественно возвышались сосны. Где он их видел, эти сосны, — в Мэрри-Хови, Елабуге или Ораниенбауме? Сосны!.. Шишкин проснулся внезапно и лежал с открытыми глазами. Зыбкий мрак плыл по комнате. А перед глазами художника стояла картина — небо, рожь и... сосны.

* * *

Шишкин приподнялся, опираясь на локоть, и долго смотрел в окно — туда, где стояли вечнозеленые, словно неподвластные времени сосны. Что влекло его к этим деревьям? Может, то, что могучие сосны по своему характеру напоминали художнику крепких и сильных людей?..

Иван Иванович пошевелил больную ногу, она была тяжелой. Постельный режим, пять дней... И горько усмехнулся, вспомнив картину молодого художника Нестерова «Домашний арест». «Похоже, — подумал он. — Не хватает только, чтобы вместо кисти дали мне в руки спицы и заставили вязать чулки...»

Иногда в комнате Ивана Ивановича раздавался чей-то тоненький, с татарским акцентом голосок:

— Лежишь все, Ваныч? Ай-яй-яй!..

— Лежу все, — глухо отвечал Иван Иванович. — А дел столько — каждая минута дорога. Понимаешь?

— Как не понять, мы с тобой, Ваныч, старые друзья...

Куся удивленно прислушивалась. Кажется, никто не приходил — и вдруг разговор. За дверью по-прежнему звучали два голоса. Куся тихонько приоткрывала дверь. Отец был один, лежал лицом к стене.

— Это ты, Куся?

— Мне показалось, кто-то разговаривал здесь...

— Это я с Ахметкой.

Случалось, что и в хорошем настроении Иван Иванович «разговаривал с Ахметкой» (двумя голосами сам с собой), но тогда разговор получался легким и остроумным.

Утром пришел Рейфус и еще с порога спросил:

— Ну как, наш царь лесной не отказался еще от престола?..

— Сегодня успокоился, — шепотом ответила Куся. — Даже с Ахметкой не разговаривал...

— Понял, что спокойствие — друг здоровья.

Доктор улыбнулся и, тоже переходя на шепот, доверительно сказал:

— Здоровье превыше самых прекрасных картин. Мне это хорошо известно. Не одного художника поставил я на ноги. По справедливости, мою фамилию должно бы обозначить на многих картинах...

Если верить доктору, он таким образом являлся «соавтором» Крамскому, Репину, Ге и даже москвичу Саврасову, писавшему, по словам Рейфуса, своих «Грачей» под его непосредственной опекой.

— Алексей Кондратьевич вспоминает...

Но Кусю совсем не интересовало это, и она поспешила сообщить новость:

— А папе письмо пришло из Москвы. Сейчас мы папу обрадуем.

Рейфус хмыкнул недовольно, не найдя в этой тоненькой девочке внимательного собеседника, и открыл дверь в комнату художника.

— Ну, как дела твои... — Он остановился и недоуменно посмотрел на Кусю.

— Позвольте, что это значит?

— Что?! — испуганно спросила Куся.

— Полюбуйтесь.

Постель художника была пуста. Окно открыто. На подоконник золотыми монетами падали березовые листья.

Доктор был оскорблен.

— Это мальчишество к добру не приведет... Уверяю вас.

— Где же он? Антон Викторович, скажите, где может быть папа?!

— Успокойтесь, голубушка. Посмотрите-ка лучше, где его мольберт.

Куся обшарила все углы и, растерянная, вернулась в комнату.

— Нет мольберта. И этюдника тоже нет...

— Ясно. Все ясно, — сказал доктор и по-мрачнел еще больше.

* * *

Шишкина разыскали в лесу, неподалеку от дороги. Увидев подходивших Рейфуса и Кусю, Иван Иванович как ни в чем не бывало улыбнулся и воскликнул:

— А-а, это вы! — Как будто он их давно и

с нетерпением ждал. — Посмотрите, какой прелестный мотивчик я нашел.

Больную ногу Иван Иванович устроил на маленьком раскладном стульчике, а сам сидел на сосновом пне и писал этюд.

— Так... — угрожающе произнес доктор, разглядывая этюд. — Выходит, все мои старания напрасны?

— Это же прелесть! — повторил Иван Иванович, не обращая внимания на грозный вид доктора. — Вокруг так хорошо, а вы, Антон Викторович, заперли меня. Несправедливо, доктор, несправедливо. — И вдруг тоном радужного хозяина пригласил. — Да вы садитесь, Антон Викторович, вот здесь рядышком и пенечек есть... В ногах-то правды нет.

Рейфус и в самом деле сел и все посматривал на этюд. Потом спросил:

— Как нога?

— Спасибо... хорошо! — поспешно отозвался Иван Иванович. — Я ведь не затруднял ее особо, ползком добирался, ползком, осторожно. А ты, дружок, что это грустная такая? — обратился он к дочери. — Завтра мы... — Иван Иванович хитро покосился на Рейфуса. — Завтра мы, с разрешения доктора, вдвоем пойдем за этюдами...

Куся ничего на это не ответила и протянула отцу письмо. Иван Иванович торопливо надорвал конверт, вытащил небольшой лист, исписанный неровным почерком, глаза его засветились радостью.

— От Касаткина. Вот человек! Вот молодец! Как там живут москвичи...

Письмо было короткое, но растрогало

Шишкина до слез. «Глубокоуважаемый Иван Иванович! — писал Касаткин. — Москвичей огорчают известия о Вашем дорогом нам здоровье. Дай бог Вам поправиться и бодро встретить юбилей товарищества, делу которого Вы так огромно служили...»

— Спасибо, дорогой Николай Алексеевич, спасибо от души! Мы еще послужим... — вслух сказал Шишкин и вдруг, обернувшись к доктору, заговорил о совершенно не относящемся ни к письму Касаткина, ни к сегодняшнему случаю. — Меня, дорогой Антон Викторович, одно время пытались объявить последователем Калама. А я отказался. Взял да и отказался. Говорят, Калам научил Европу рисовать деревья... Ну, и пусть его считают. Вы вот, дорогой доктор, заперли меня в четырех стенах, а не подумали, каково мне... без лесного воздуха. Калам тоже хотел «запереть» в своих картинах природу, кистью хотел улучшить пейзаж... Не вышло! Лучше того, как в природе, не сделаешь. А красота что ж... красота, дорогой доктор, вот она, вокруг нас. Красоту не придумаешь, увидеть ее надобно...

Доктор никогда еще не видел таким художника — лицо его, глаза молодо светились, движения были легкие. Доктор, не скрывая восхищения, смотрел на художника: «Наверное, это и есть вдохновение. Вдохновение... плюс лесной воздух! — вдруг подумал Рейфус. — А что, если применить это новое средство?»

Теперь каждое утро доктор Рейфус отправлялся в лес к своему необычному пациенту. Иван Иванович тоном радушного хозяина приглашал:

— Проходите, проходите, дорогой Антон Викторович!

Как будто он был не в лесу, а в своем кабинете.

Доктор задавал несколько привычных вопросов, спрашивая о здоровье художника, пристраивался рядом и наблюдал, как маленькая кисточка в огромных руках Шишкина творила чудеса. Художник быстро поправлялся. А из-под его кисти один за другим выходили прекрасные этюды.

Позднее, когда Шишкин написал «Заброшенную мельницу» и «Корабельную рощу», старый доктор говорил:

— А могло и не быть этих картин... Вы слышали что-нибудь о препарате «лесной воздух плюс вдохновение»?..



БЕЛАЯ НОЧЬ

I

Часы пробили полночь.

Гуркин не мог уснуть, ворочался, вздыхал и думал о разных пустяках: «Надевать завтра манжеты или не надевать».

Завтра будет решена судьба Гуркина. Граф Толстой передал его рисунки профессору живописи Ивану Ивановичу Шишкину, предупредив, что приговор последнего окончателен.

За стеной всхлипывала скрипка. Гуркин ворочался и вздыхал.

— Виктор Андреевич, ты не спишь?

Анохин сидел на табуретке, облокотившись на подоконник и подперев ладонями щеки. Лицо его казалось восковым.

— Сейчас буду ложиться, — отозвался он, не меняя позы. — И тебе советую хорошо выспаться. Чтобы предстать перед Шишкиным со светлой головой.

Мимо окон по мостовой прогромыхала коляска, прозвучали и удалились чьи-то голоса. Высокие деревья по ту сторону улицы стояли прямые, четко вырисовывающиеся на фоне неба и будто облитые стеариновым светом.

— Закрывать бы окно,— сказал Гуркин.— Не могу уснуть. Светло, как днем.

Анохин засмеялся, взъерошил бородку и шутливо-торжественно воскликнул:

— Ах, эти мне инородцы, племена темных уголков! Да знаешь ли ты, дорогой Григорий Иванович, сколько прелести, очарования и, если хочешь, поэзии в этих белых петербургских ночах?..

Но он все-таки встал и занавесил окно старым пледом.

— Спокойной ночи.

Он еще с минуту слушал всхлипывания скрипки, потом постучал в тонкую переборку кулаком. Музыка оборвалась. Осипшим басом кто-то спросил оттуда:

— Это ты, Витюша?

— Если бы твою игру услышал Гайдн, он бы тебе не сказал спасибо.

За стеной не обиделись:

— О, Гайдн меня бы понял. И простил бы мне, разумеется, эту маленькую фальшь. Такая ночь сегодня! Все хочется делать по-своему, свою душу вкладывать во все...

— И даже фальшиво играть Гайдна? — безжалостно напомнил Анохин.

— Такая ночь...— повторили за стеной.— А ты, Витюша, почему иронически настроен? Ты, наверно, прочитал мемуары графини Потоцкой. Признайся же, читал?

— Нет, Аполлон Сергеич, не читал.

— А я вот, грешный, удостоил графиню чести, три страницы прочел... и лишний стакан водки выпил. Последнее голову кружит, а от первого тошнит. Думаешь, пьян старик? Упаси боже! Ну, а художник твой как... как его успехи? — быстро сменил он тему.

— Завтра идет к Шишкину.

— К Шишкину? Это славно. Успеха ему пожелай.

За стеной долго, затяжно кашляли. Потом снова запела и долго не смолкала скрипка.

— Виктор Андреевич, — позвал Гуркин. Нет, ему не спалось, и причиной была вовсе не белая петербургская ночь.

— Кто это? — спросил Гуркин.

— Актер... талантливый музыкант. Беспокойный вот только безмерно и неуживчив... — ответил Анохин. — Оттого и одинок. Больной, к тому же опасно. Одно время работал он в Мариинском театре, потом сидел в одиночной камере. Давай-ка спать, дел завтра много.

Но через минуту Гуркин опять позвал:

— Виктор Андреевич... Виктор Андреевич, ты видел Шишкина?

— Нет. Слышать кое-что слышал о нем, а видеть не доводилось.

— Что слышал?

— Да ничего особенного, мелочи разные. Зовут, например, его здесь, в Питере, не иначе как лесным царем. И еще рассказывают: когда Шишкину предложили вести класс живописи в Академии, он согласился, но предупредил, что много учеников не возьмет... Почему? По мнению профессора Шишкина, многие не могут

быть талантливыми, а на бездарных время тратить не хочется. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— вздохнул Гуркин, поворочился на скрипучем диване, стоявшем в этой крохотной комнатке, наверное, с незапамятных времен, и сказал:

— Вот и мне так скажет...

— Не скажет. Ты один.

— Думаешь, один не может быть бездарным?

— Может. Но верь, все будет хорошо... все будет лучше, чем ты можешь предположить.

Гуркин невесело засмеялся.

— Если бы ты, Виктор Андреевич, был Шишкиным!..

А через минуту в голову снова полезли пустяковые мысли: «Надевать завтра манжеты или не надевать?..»

2

Северная столица встретила Гуркина неприветливо и отчужденно. Он почувствовал это сразу же, как только вышел из вагона на перрон. Шумная, многоголосая толпа обтекала его, как быстрая речная вода обтекает случайно встретившийся на пути камень... Гуркин остановился растерянно, у него даже голова закружилась. Это была новая, совсем незнакомая, неудержимо-стремительная жизнь. Куда вынесет его быстрое течение этой жизни — не закружит, не выбросит на мель?

Широкоскулый, смуглолицый, в простой рубахе, подпоясанной узким ремешком, в новых яловых сапогах, Гуркин невольно обращал на

себя внимание. На него оглядывались. Чьи-то насмешливо-любопытные глаза смотрели на него сквозь лорнет. Гуркин хмурился, ему было неловко и обидно:

— Несправедливо устроен мир: одним — все, другим — ничего.

— Не придавай значения пустякам, — советовал рассудительный Анохин. — Представь себе, если кто-либо из этих господ вот в таком виде попадет в тайгу, в горы, к нам на Алтай... Каково, а? Выше голову, Григорий. Это же Петербург!

На другой день Анохин купил галстук, воротничок и манжеты. Сказал:

— Необходимая обновка.

— Зачем?

— Чтобы поменьше оглядывались на тебя. Кроме того, манжеты и воротнички кое-что значат в Петербурге... — И, улыбнувшись, добавил: — Удачу тебе принесут петербургские манжеты.

Непривычная одежда стесняла Гуркина. Он ходил по улицам огромного чужого города мрачный и растерянный. Двери художественных студий и мастерских открывались перед ним, чтобы тут же навсегда закрыться. Не помогали ни просьбы, ни манжеты, ни рекомендательные письма томской художницы Базановой, к которой Анохин и Гуркин заезжали по пути.

Однажды, вернувшись в маленькую комнату Анохина, Гуркин устало опустился на диван и сказал:

— Домой, пожалуй, поеду. Устал я от этой бесполезной ходьбы... Хватит.

— А что дома? — рассердился Анохин. — Опять малевать лики святых угодников?

— Что же делать? — в голосе Гуркина прозвучало отчаяние. — Что делать, Виктор Андреевич?

— Ходить. Искать. Добиваться. Стучаться во все двери, неправда — кто-нибудь откроет.

— Стучался уже. Не открывают.

Анохин взъерошил аккуратную свою бородку и решительно возразил:

— Откроют. Есть двери, которые обязательно откроют... И ты не думай — не все еще потеряно. Вот что, Григорий Иванович, иди-ка завтра в Академию.

— В Академию?!

— В Академию. Терять тебе все равно нечего.

3

Гуркин открыл тяжелую дубовую дверь и оказался в прохладном круглом вестибюле. Две массивные лестницы полукругом уходили вверх.

Торжественная тишина переполняла высокий зал; тишина здесь была такая глубокая и прочная, что никакие звуки, казалось, не смогут ее нарушить. Худенький старичок, неслышно ступая по полу, — само воплощение тишины и порядка — шел навстречу.

— Чего тебе, сударь? — не очень дружелюбно спросил старичок.

Гуркин не удивился, он уже привык к грубым и насмешливым выпадам швейцаров. Но этот все-таки казался добрее и человечнее тех, с которыми уже приходилось встречаться.

Этот серьезно смотрел на Гуркина, без тени недоверия и насмешки.

— Чего изволишь, сударь? — переспросил швейцар.

— Я бы хотел видеть президента Академии...

Лицо старика вытянулось от изумления. Он некоторое время смотрел на странного посетителя, потом сказал:

— Его высочество великий князь Владимир Александрович бывают здесь, почитай, редко. Да и к нему ли тебе надобно? Может, кто из господ профессоров разберется?

Гуркину было все равно, и он, не задумываясь, согласился:

— Пожалуй, да.

Старик помедлил, все еще озадаченно рассматривая Гуркина, и, словно делая ему величайшее одолжение и почему-то переходя на «вы», пообещал:

— Ладно уж, доложу об вас графу. Примут — ваше счастье.

Он поднялся по ступенькам полукруглой лестницы наверх. А Гуркин терпеливо ждал и думал: «Какому графу пошел он докладывать? И при чем тут граф?..»

Мраморные скульптуры древних богов надменно взирали с высоты своего положения на непрошенного гостя.

В большие окна заглядывало солнце. Сверкали на улице не успевшие просохнуть после дождя лужи, и в них оготело купались воробьи. Маленький парходик тащил по Неве баржу с сеном. На фоне желтовато-золотистых дворцов эта баржа выглядела по меньшей ме-

ре нелепо. Не так ли и он, Гуркин, выглядит среди этой торжественной академической тишины?

— Я вас слушаю, сударь!

Гуркин вздрогнул от неожиданности — он не заметил подошедшего к нему величественного бородача — и начал было объяснять цель своего прихода, но смешался и замолчал.

— Вы хотите поступить в Академию, так я вас понял?

— Да, — ответил Гуркин.

— Вы где-нибудь учились рисованию?

— В иконописной мастерской учился.

— Этого недостаточно. Мне жаль вас огорчать, но в Академию принимают тех, кто уже прошел предварительный курс. — Он оборвал фразу и вдруг, остро прищурившись, поинтересовался: — А что у вас в папке?

— Рисунки.

— Превосходно! Давайте покажем ваши рисунки профессорам.

Он завладел папкой и легкой походкой ушел наверх. А минут через десять к Гуркину подошел швейцар и, почему-то опять переходя на «ты», сказал:

— Просют тебя зайти. Всполошились профессора. — И ободряюще улыбнулся, легонько подтолкнув Гуркина в плечо. — Иди, иди, куда зовут. Не каждому такое дается...

Гуркин поднимался по лестнице медленно и неуверенно. Старик смотрел вслед ему и думал о том, что многие на его памяти вот так же неуверенно поднимались по этой лестнице, а теперь стали знаменитыми не токмо в Санкт-Петербурге, а почитай, по всей России...

Рисунки Гуркина понравились профессорам. Однако высказать определенное и окончательное мнение никто из них не решился. Правда, кто-то заметил, что Гуркин более жанрист, нежели пейзажист. Кто-то утверждал обратное. Спор ни к чему не привел, и граф Толстой, вице-президент императорской Академии (это он по счастливой случайности заметил в руках Гуркина папку с рисунками), предложил передать рисунки Ивану Ивановичу Шишкину.

— Как скажет Иван Иванович — тому и быть.

Гуркин шел по Университетской набережной, мимо уже знакомого здания Академии художеств. Тяжелые извозчичьи рыдваны печатали на мокрых плитах мостовой неровные линии. Порывистый ветер нес вдоль домов пожухлые листья, швырял их в Неву, и они плыли по мутной воде, обгоняя друг друга, как маленькие игрушечные кораблики. Неуклюжий пароходик, шлепая плечами по воде, тащил баржу с сеном. Гуркин подумал, что это, может быть, та самая баржа, которую он видел три дня назад из окна Академии. Это была, конечно, другая баржа, но случайное совпадение настроило Гуркина как-то по-особенному. Было такое чувство, словно время остановилось и ничего уже невозможно изменить — ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо через многие годы. И баржа с сеном будет вечно тащиться по мут-

ной Неве, и он, Гуркин, не сделает ничего настоящего, светлого, большого.

Гуркин стоял, опершись на парапет, и ему казалось, что сфинксы смотрят со своих гранитных постаментов на мир сурово и просто. Им все ясно. Они многое видели.

Нет, баржа все-таки двигалась. Медленно, правда, но двигалась.

«Надо идти», — сказал себе Гуркин.

Плыли по воде пожухлые листья. Ветер подметал набережную.

Гуркин отыскал Пятую линию — это, оказывается, совсем недалеко от Академии. Дом тридцатый.

Гуркин остановился в узком коридорчике и долго не решался позвонить. Наконец, нажал кнопку звонка. Дверь открыла немолодая полная женщина с простым приветливым лицом.

— Проходите, проходите, — проговорила она так, словно давным-давно знала Гуркина. — Вас ждали к десяти. Иван Иванович волнуется. Проходите.

Гуркин вошел в большую гостиную и прежде всего увидел разбросанные на полу свои рисунки. Потом он увидел величественного графа Толстого и еще несколько почтенных господ. Гуркин догадался, что рисунки не разбросаны, а разложены на полу и несколько человек внимательно их рассматривают. Он поискал глазами того, кто должен решить сегодня его судьбу...

Широкоплечий человек подошел к нему и протянул большую руку.

— Ну, здравствуй...

Это был Шишкин. В нем не было ничего необыкновенного, кроме огромных, сильных рук, с заскорузлыми, как у кузнеца, пальцами. Напротив, он был поразительно обыкновенным, чуточку тяжеловатым и медлительным, из-под густых бровей снизу вверх пристально и живо смотрели небольшие светлые глаза.

— Это и есть виновник чрезвычайного профессорского сбора? — голос у Шишкина густой и чуть окающий. — Проходи, садись. Гуркин, стало быть?

— Гуркин.

— Как же ты, Гуркин, рискнул из такой дали в Петербург приехать, а? Страшно, поди?

И говорил он медленно, словно проверяя каждое слово на слух.

— Сам бы я не поехал, — признался Гуркин. — Тут мой товарищ учится музыке... Он меня и уговорил.

— Чем же ты занимался до этого?

— Иконы писал.

— А еще раньше? Кочевал?

— Нет, мы не кочевники. Отец шорным делом занимается. А я миссионерскую школу окончил. Учителем служил немного. Потом бросил, рисованием занялся...

Шишкин взял один рисунок в руки, спросил:

— Кто такой Сартыкпай?

— Богатырь. Всю жизнь он старался делать добро своему народу. Однажды он построил мост через Катунь...

— Что же он грустный такой на рисунке?

— А Катунь снесла его мост.

— Злая река, значит, если богатырь не

справился с ней, — сказал Шишкин и отложил рисунок.

Очередь дошла до небольшой картины, названной Гуркиным «Камлание». Шишкин поставил картину на стул и впился в нее глазами. Гуркин хотел определить по лицу, какое впечатление производит его картина, но лицо Шишкина было спокойно, непроницаемо и чуточку даже равнодушно. Казалось, что встанет сейчас Шишкин, посмотрит на Гуркина своими пристальными глазами и скажет: «Поезжайка обратно на Алтай, пиши свои иконы...»

Шишкин встал.

— Славно подобран цвет. Славно... — Шишкин говорил ни к кому в частности не обращаясь.

— Иван Иванович, а общее-то ваше впечатление каково? — нетерпеливо спросил Толстой.

Шишкин снял со стула картину, точно подчеркивая этим, что осмотр закончен, и спрятал глаза под кустиками бровей. Задумался о чем-то. И все молчали, ждали, что скажет Иван Иванович.

— Припоминается мне одна выставка, — сказал Шишкин. — Выставка так себе, без особого блеска. Но были на ней и премиленькие итальянские пейзажики. А я знал: художник тот сроду не бывал в Италии. «Как же это вам, батенька, удалось этак? — спрашиваю. — Натура-то у вас русская была, а фактура итальянской получилась?» «Воображению художника все доступно...» — говорит. Выходит, воображение действует помимо души и сердца! Так у нас еще бывает. Пишут пейзажики в Подмо-

сковье или в Ораниенбауме, а ничем эти пейзажики не отличаются от итальянских картинок... — Шишкин усмехнулся. — Мой учитель Сократ Воробьев бывал в восторге от такого исполнения и любил повторять: «Превосходно! Чувствуется итальянская школа...» А сам числился профессором русской Академии. А это... — указал он на рисунки Гуркина, — это еще недостаточно по мастерству, но в этом есть душа и... правда.

— Иван Иванович, неужели Воробьев так и не был ни в чем вам полезен? — шутливо полюбопытствовал Толстой.

— Не скажу этого, — глаза Шишкина стали колючими. — Польза от него была, хотя бы в том, что он не навязывал ученикам свои вкусы и взгляды.

Неожиданно Шишкин заговорил о дурных порядках, заведенных в Академии, и крепкая жилистая рука его описала короткий полукруг.

— Два года копировать гипсовые фигурки, чтобы получить возможность поступить в Академию! Каково? Особенно для будущего пейзажиста...

При этих словах Иван Иванович глянул на Гуркина. И Гуркин понял, что спор профессоров о том, каких у него задатков больше — жанриста или пейзажиста, — решился сейчас одной фразой Шишкина.

Будущий пейзажист, приехавший в Петербург с Алтая, не был принят в Академию, но получил право заниматься в мастерской Шишкина. Это было редкое и счастливое право.

Поздно вечером Гуркин вернулся на квар-

тиру Анохина и, не переступив еще порога, воскликнул:

— Открыли, Виктор Андреевич... открыли дверь! Можешь меня поздравить...

6

Хотелось, чтобы ночь была светлой и чтобы за стеной, не смолкая, звучала скрипка. Было темно и тихо. Шел дождь.

— Значит, все в порядке? — уже в который раз спрашивал Анохин.

— Все в порядке! — радостно отвечал Гуркин.— Иван Иванович так и сказал: будем работать вместе.

Анохин ходил по комнате, заложив руки за спину, и хмурился.

— Увели сегодня Аполлона Сергеевича...

— Куда увели?

— Известно куда... Соскучилась по нем одиночная камера.

— За что же?..

— Не знаю. Неуживчивый он человек. Да! Обыск был. Струны порвали на скрипке...

Оба взволнованно помолчали.

— Кто такой Гайдн?..— вдруг спросил Гуркин.

После белых ночей наступила в Петербурге ненастная погода. Но теперь ничто не могло испортить Гуркину отличного настроения.



УКРАДЕННЫЙ ЭТЮД

Летом 1898 года Гуркин вернулся на Алтай. Приезд его был неожиданным. Отец сидел на березовой колодине и, посасывая трубку, чинил седло. Гуркин остановился, и тень его, переломившись, легла на отцовские колени. Иван Григорьевич поднял голову, увидел сына и удивленно сказал:

— Крикорий приехал!..

Он легко встал и шагнул навстречу. Потом долго и крепко встряхивал сыну руку и все заглядывал ему в лицо, словно хотел увидеть в нем тот отпечаток, который должна была наложить жизнь в большом городе, но лицо сына не изменилось, только чуточку осунулось да на крутых скулах проступила синеватая бледность. «Не сладко, однако, живется там», — отметил про себя Иван Григорьевич, а спросил о другом:

— Насовсем вернулся?

— Там видно будет, — неопределенно ответил Гуркин.

Он переступил щербатый порог и в полутемных сенях столкнулся с женой. Марья радостно вскрикнула и прижалась к мужу. Впервые он почувствовал, как сильно соскучился по жене и как не хватало ему в последнее время, особенно после смерти Ивана Ивановича, настоящей заботы, ласки и сердечного тепла.

— Хватит, однако, стоять в сенцах, — сказал отец. — Наговоритесь еще...

Вечером они пили теплую, крепкую араку, и, пьянея, Гуркин рассказывал о первой встрече с Шишкиным, о белых петербургских ночах, о таинственных красках художника Куинджи и о том, что такого человека, каким был Иван Иванович Шишкин, уже никогда не будет.

Отец подливал араку в жестяные кружки.

В распахнутые настежь окна виднелись сумрачные, будто затушеванные горы, и первые звезды над ними вспыхивали, как капли росы.

— Богатый, видно, человек был... этот Шишкин.

— Богатый был человек, — сказал Гуркин. — Чтобы купить все его картины, миллиона не хватит.

— Миллионер, значит?..

Они долго молчали, и каждый по-своему думал о богатстве Шишкина.

Марья Агафоновна, принарядившаяся по случаю возвращения мужа, поставила на стол жареную баранину. Села рядом и как о чем-то приятном сообщила:

— А у нас нынче неурожай. Засуха все пожгла...

Разговор перешел на домашние темы. Отец

жаловался, что на добрую сбрую не стало прежнего спроса. Все норовят задарма приобрести седло или хомут, а то не берут в счет, какими руками сделано... Ремесло седелочников нынче не в почете.

Гуркин равнодушно слушал отцовские жалобы. В душе он уже давно отрекся от хозяйства, которым полна жизнь отца, и ему совершенно безразлично, упала или поднялась цена на седла и хомуты...

— А я думаю переехать нынче в Онос, — сказал Гуркин. Отец сердито насупился, его покоробили слова «я думаю», будто он, Иван, Чорос-Гуркэ, уже и думать не может. Дожил-ся! Дождался сына...

— Улала не по душе, однако, стала? А здесь ты родился...

— Не в этом дело, отец. Онос окружают горы, тайга. Катунь бежит... Лучшего места художнику и не надо.

Отец набил трубку табаком, положил на стол и забыл раскурить. Тяжелые думы пришли к нему вместе с приездом сына. Что толку, что сын вернулся! Помощи от него не жди. Вот разве иконами снова займется, то дело выгодное, — уцепился за последнюю мысль Иван Григорьевич.

— Ты, Крикорий, подумай. Хорошенько, однако, подумай! Переезд большой — деньги большие надо. Где возьмешь?

— Переедем, — сказал Гуркин. И отец понял, что спорить с ним бесполезно. Он взял трубку со стола, не донес до рта и положил обратно. Спросил примирительно:

— Выпьем еще? За переезд выпьем...

Лето было жаркое, без дождей. Опаленные травы никли к земле, словно прося у нее защиты. Камни накалялись так, что невозможно было к ним притронуться. Короткие ночи не успевали их остудить. Сосны сочились желтоватой, как мед, смолой, распространяя приторно-сладковатый запах.

Как-то поутру Гуркин вышел на берег Катуня и увидел на камне, с которого два дня назад писал этюд, трещину. Это было похоже на то, что художнику удалось подсмотреть в природе что-то необычайно таинственное. Гуркину нравились загадки и тайны. Без них, казалось ему, жизнь была бы лишена всякого интереса и смысла.

Гуркин стоял среди каменных глыб, как среди развалин древнего загадочного города, и слушал однообразный шум Катуня. Свирепая, как таежный зверь, река!.. Сколько тысяч, а может, и миллионов лет шумит она! Сколько человеческих надежд унесли быстрые катунские воды, и, как памятник человеческому бессилию, посередине реки, на самой быстрине, беспомощно торчит несколько камней...

Дедушка Тыдык, перекочевавший когда-то из Бачата в Кокшах, долго жил на берегу Катуня и знал об этой своенравной и гордой реке множество историй и легенд. Это были грустные и смешные, но всегда полные смысла истории.

Дедушка Тыдык рассказывал их не торопясь, очень красочно и живо: «Давным-давно, много веков назад, добрые богатыри спусти-

лись с гор и решили укротить Катын. Бросились богатыри в студеные волны, чтобы приостановить бег строптивой реки, и превратились в камни... А Катын с тех пор еще больше злится, еще стремительнее несет зеленые, словно вобравшие в себя цвет тайги, воды, вечно молодая и дикая, как необъезженная кобылица...»

Гуркин опустился на колени, держась одной рукой за скользкий каменный выступ, а другую подставив под речную струю. Вода, как стекло, разбилась, рассыпавшись мелкими брызгами и ослепив художника неожиданно ярким сочетанием красок... Гуркин подставлял ладонь под тугую струю воды еще несколько раз, пальцы немели от холода. Брызги взлетали к лицу, оставляя на нем мелкие бисеринки. Но краски были уже не те, в них не было яркого и живого блеска, вспыхнувшего перед глазами художника в первое мгновение.

Гуркин поспешно встал и раскрыл этюдник. На подбородке у него висели прозрачные капли воды. Гуркин смешал на палитре краски, положил один за другим несколько тонких мазков и долго их рассматривал. Форма сейчас не интересовала художника, он хотел перенести на бумагу ту вспышку красок, которая так поразила и взволновала его минутой назад. Но получался на бумаге какой-то вялый и безжизненный цвет. Гуркин вздохнул с сожалением: таинственная вспышка красок погасла и, может, никогда не повторится. Он делал карандашный набросок камня с трещиной, а думал об удивительной вспышке красок...

— Крикорий! — раздался голос отца. Иван

Григорьевич стоял на берегу и махал рукой.— Крикорий, лес привезли. Стропила делать будем...

— Иду,— отозвался Гуркин.— Сейчас иду.

* * *

Постройка дома отнимала много времени. Только в праздничные дни да изредка рано утром Гуркину удавалось поработать.

Однако этюды и рисунки, сделанные в короткие промежутки между постройкой дома, не приносили художнику удовлетворения. Вечерами, когда прохладные тени, словно огромные покрывала, сброшенные с гор, ложились на истомленную зноем землю, а воздух чутко отражал каждый малейший звук, Гуркин особенно остро ощущал эту неуемную потребность — писать, писать, писать! Гуркин тосковал по настоящему делу. Он знал один чудесный таежный уголок (называл его «ненаписанным этюдом»), держал на примете и мечтал о нем еще в Петербурге.

Открыл он этот уголок прошлой весной при нескольких странных обстоятельствах. Оторвавшись от бесконечных дел в иконописной мастерской, Гуркин три дня бродил по таежным падам, забирался в такую глушь, где и звериная нога, наверное, не ступала. Потом поднялся на плоскую, будто срезанную, вершину безымянной горы. День был солнечный, ясный. Вдали курились сизые дымки, синела тайга, неширокая долина ярко-пестрым ковром расстилалась по обеим берегам извилистой речки. А здесь, на плешивых склонах, торчали

острые, как волчьи клыки, каменные выступы. Серые скалы, поросшие редкой, без запаха, травой и жестким маральником, были похожи на могильники далеких предков. Гуркин зарисовал несколько «могильников».

Тропа, змеей извивавшаяся между ними, уползла вниз и внезапно оборвалась, потерявшись в буйных зарослях. Прямо перед ним, внизу, словно чудо какое, вырос зеленый островок. Пахнуло свежестью соснового запаха. Солнце пронизывало густые, сплетавшиеся между собой кроны деревьев и рассеивалось внутри леса мелким разноцветным дождем, пятная стволы деревьев, кустарник и траву.

Гуркин вошел в этот лес, как в чужой дом, где все ново, загадочно и непонятно. Под ногами хрустела пружинящая сухая хвоя. Сосны стояли прямые и высокие, и небо сочилось сквозь ветви тончайшими голубыми струями...

Гуркин подивился силе деревьев, сумевших выжить и окрепнуть среди холодных и мрачных «могильников». Художник уже готов был раскрыть ящик с красками и написать для начала сосну и небо, струившееся между ее ветвями, как вдруг услышал совсем близко шорох травы и приглушенный мужской голос, звучавший мягко и уверенно:

— Не бойся, Қожон, здесь мы одни... Никто не придет сюда.

И Гуркин тотчас же увидел их. Высокий черноволосый парень, со скуластым коричневым лицом, и такая же черноволосая, тоненькая девушка — очень юные и очень похожие чем-то друг на друга, наверное, своей красотой, — держали друг друга за руки и говорили

так тихо, что порой их слов невозможно было разобрать. Они были одни. И все, что окружало их — лес, горы, река и воздух, — существовало только для них.

Стараясь быть незамеченным, осторожно, шаг за шагом Гуркин отступал назад. Он верил, что вскоре вернется еще и напишет светлые и радостные, как любовь, этюды. Он вспомнил Машу Лозину, и впервые его захлестнуло нежное чувство, захотелось так же держать ее за руки, смотреть в глаза и тысячу раз повторять одно единственное слово.

Кто первым на земле произнес это короткое и великое слово: «Люблю»?.. Наверное, этот человек был смел, как барс, и нежен, как утренняя заря.

Гуркину не удалось этим летом еще раз побывать в лесном уголке, который хранил для него удивительно светлую и радостную тайну. Работа в иконописной мастерской Борзенкова заставила на время отказаться от заманчивой мысли. Потом женитьба и неотложные семейные дела. А осенью Гуркин вместе с Анохиным уехал в Петербург...

Он рассказал об этой удивительной встрече Шишкину. Это было незадолго до смерти великого пейзажиста. Бушевала январская метель. Снежные вихри кружились над застывшей Невой. А Гуркин вспоминал весну.

— Никогда не видел такой красоты! А увидел — и в душе что-то перевернулось...

Шишкин сидел на стуле, грузный, задумчивый, с непричесанными волосами.

— Не могу забыть, — жаловался Гуркин. — И этот лес, и эти двое...

Шишкин улыбался.

— Вот и великолепно, вот и хорошо! — говорил Иван Иванович. — И не забывай. Вернешься на Алтай, обязательно сходи к этому своему «некрещеному» месту.

Тогда Гуркину все казалось просто: новую картину он назовет «Лесная тайна». Первый большой этюд он, конечно, напишет в том лесу...

Но проходили дни, а Гуркин все никак не мог выбрать время, чтобы от души, всласть, как говорил Шишкин, поработать. Будь, разумеется, у него деньги, много денег, он не стал бы сам заниматься постройкой дома. Но в том-то и беда — денег не было, и отец несколько раз уже намекал, что, мол, в иконописной мастерской работа куда выгоднее, чем эта никому не нужная мазня...

Несколько дней назад Иван Григорьевич ездил по хозяйственным делам в Бийск и, вернувшись, как о затаенной удаче, сообщил:

— Видел Борзенкова...— И многозначительно помолчал.— Крикорию, сказывал, привет большой... Заказов много, сказывал, деньги сами просятся в карман...

Гуркин не отозвался, и отец, обиженно поджав губы, замолчал.

* * *

Дом был готов. Сосновые стены отливали свежей и яркой желтизной. Будто их пропитали солнцем. Высокий, прочно срубленный, с четырьмя просторными комнатами, с террасой, дом был похож на сказочный теремок. Отец остался доволен — хорошо сработали! Гуркин

был доволен — закончили, наконец, постройку!..

Утром Гуркин сказал:

— Пойду на этюды... Вернусь поздно. Если успею, конечно, вернуться сегодня, — добавил он.

Жена завернула в тряпицу кусок мяса, пшеничный калач и щепотку соли. Отец сосредоточенно курил, искоса поглядывая на сына. Он решил, что для прямого разговора сейчас самый подходящий момент.

— Борзенкова-то не забыл? — спросил Иван Григорьевич.

— Помню.

— Доброе дело предлагает Борзенков. Доходное. Чего ж не пойти-то?..

— Вернусь, тогда и поговорим, — спокойно ответил Гуркин.

Он спустился к мелководной Оноске. Слышно было, как вода шебаршит по песку. Узкая тропинка некоторое время тянулась вдоль речки, потом круто свернула и повела его в горы. И чем дальше Гуркин уходил, тем больше волновался и радовался. Он был свободен, как ветер, и мог, наконец, заняться любимым делом.

Художник шел туда, где год назад оставил свой ненаписанный этюд...

Безымянная гора показалась Гуркину еще более плоской, словно раздавленной нависшими над ней тяжелыми облаками. Довольно легко преодолев подъем, художник остановился на гладком, слегка пологом плато. Вдали громоздились, надвигаясь друг на друга, будто им было тесно, горные хребты. Тайга задернута была легким, подвижным занавесом ту-

мана. Острые пики вершин терялись и вновь возникали в синих разводах облаков. Ни один звук не нарушал суровой торжественной тишины. Слишком велико было пространство и велики были горы. Теплый ветер колыхал белый занавес тумана...

Горы, горы... Хан-Алтай! Позднее Гуркин исходит их вдоль и поперек. Пощупает руками влажные дождевые облака. Последней спичкой разведет костер. И когда спросят художника, что для него горы, он просто скажет: «Горы для меня — все. Мой дом, моя мастерская, мое счастье...»

Гуркин долго стоит среди голых камней, отшлифованных ветром и обожженных солнцем, и вдыхает необыкновенно чистый воздух. Такой воздух только здесь, в горах, он, как свежая вода, утоляет жажду и возвращает усталому бодрость и силу... Воздух гор!

Художник идет к южному склону. Вот знакомая тропинка, петляющая меж каменных выступов. Вот серые мрачные «могильники». Тропинка почти отвесно срывается вниз и, кажется, повисает в воздухе... Вот еще «могильники», причудливые изваяния природы. Внезапный порыв ветра сдувает с них серую колющую пыль. На вершине одного из «могильников» примостился огромный беркут. Он, наверно, крепко спал — его не разбудил даже свист. А может быть, беркут был стар и глух. Но все же он почувствовал приближение человека, лениво взмахнул крыльями и, щелкнув клювом, поднялся в воздух и долго кружился на одном месте, будто привязанный.

Отсюда прошлой весной Гуркин увидел лес-

ной островок, похожий сверху на живой зеленый шатер. Гуркин остановился. Смотрел и ничего не мог понять. Несколько обгорелых лиственниц торчали среди искареженных, повергнутых на землю деревьев... Зеленый островок исчез.

«Неужели заблудился? — подумал Гуркин. Но он хорошо знал эти места. И вдруг вспомнил: — Лиственница не боится огня...» Огонь! Значит, был пожар. Случай в тайге не редкие. Но то, что мог погибнуть в огне этот крепкий молодой лес, Гуркин и мысли не допускал. Цепляясь за камни и жесткие, как проволока, кусты, он спустился с горы. Горький запах гари щипал в горле. Сердце колотилось от быстрой ходьбы и волнения.

До самой последней минуты Гуркин надеялся на какое-то чудо, но чуда не произошло. Он увидел страшную картину. Стволы деревьев лежали обуглившимися трупами.

Гуркин опустился на обгоревшее дерево. Еще недавно в нем бушевали живые соки. Может, это была та сосна, которую Гуркин хотел написать!.. Впервые он почувствовал, как рушатся надежды. Целый год он носил в душе радостную и светлую мечту... И вот все превращено в прах и пепел. Гуркин закрыл руками лицо и не мог сдержать стога.

— Мой этюд... Мой этюд украли! Украли...

Он сидел так полчаса, час или два, забыв о времени, потом, наконец, встал и пошел не оглядываясь. Старый беркут все кружил и кружил на одном месте, будто привязанный, и ветер сдувал с «могильников» серую пыль...

Гуркин опустился к речке Бишпек, умылся

холодной освежающей водой, вышел на дорогу и встретил ехавшего на лошади старика-алтайца.

— Здравствуй, — сказал Гуркин. Старик поднес руку к меховой шапке и молча кивнул головой.

— Ты, пожалуй, мне кое-что объяснишь? — сказал Гуркин.

— Чего можно объяснить, чего нельзя... — глубокомысленно заметил старик и хитро засмеялся, показав ровные желтые зубы. Потом посерьезнел, стянув брови в тугой узел.

Мохноногий меринок, воспользовавшись непредусмотренной остановкой, лениво щипал траву. Старик сидел на его костистой спине, свесив ноги на одну сторону, и с интересом рассматривал не самого Гуркина, а мольберт и этюдник, которые он держал в руках.

— Скажи, бывали тут у вас пожары нынче?

— Хе, бывали! Много пожаров... Лес горит — вода не поможет... — с той же глубокомысленностью изрек старик.

— А, может, ты знаешь, когда сгорел лес... Тот, что у безымянной горы?.. Во-он та гора...

Старик погасил улыбку и отвернулся. Он что-то знал, это было видно по его лицу, но говорить не хотел. Гуркин тронул старика за рукав шубы и попросил:

— Расскажи, не бойся. Художник я. Понимаешь? Хотел картину писать. Хороший лес был... Как он сгорел?

— Я и не боюсь! — с вызовом сказал старик. — Чего мне бояться? А рассказывать что — сгорел, да и все.

Он чмокнул губами, и меринок послушно

поднял голову. Но отъехав немного, старик остановился и, обернувшись, сказал:

— Весной горел-то лес... Девушку увезли за калым. Богатый калым!.. А парень ночью поджег лес и ушел в горы... Любил он шибко девушку. Пропал парень...

Старик чмокнул, и старый меринок зашагал своей дорогой. Гуркин крикнул вдогонку:

— А как звали девушку?

Но старик больше не обернулся.

Запах горелого леса преследовал Гуркина, вызывая тошноту. В кармане дождевика лежал нетронутый обед. Гуркин не написал в этот день ни одного этюда. Вернувшись из тайги, поднялся по широким ступенькам на крыльцо и вошел в новый дом с таким холодным безразличием, будто входил сюда тысячу раз. Он не заметил, что стены были выбелены и на подоконнике стояла его любимая герань...

— Ты плохо выглядишь, Григорий, — встревожилась жена. — Совсем что-то неважно... Занемог?

— Устал, пожалуй...

Пришли гости. Справляли новоселье. Пили крепкую араку. Отец размахивал жестяной кружкой, расплескивая по скатерти густую зеленую жидкость, смеялся и говорил:

— Крикорий все пишет камни, сосны... Зачем пишет? Мы и так видим камни и сосны...

Гуркин вышел на крыльцо. Ночь была тихая и звездная. Слева громоздилась, подступая почти вплотную к ограде, гора Ит-Кая. Справа шумела Катунь, могучая, необузданная река... Какой-то странный звук примешивался к этому привычному шуму, и Гуркин ни-

как не мог понять, что это за звук и где он рождается. Этот звук остался для него такой же таинственной загадкой, как ослепительная вспышка красок, которую так и не удалось ему перенести на бумагу...

Гуркин прислушивался к шуму Катуня и думал о том, что осенью он обязательно вернется в Петербург. Профессор Киселев обещал взять его в класс живописи больнослушателем. А к Борзенкову он не пойдет и писать иконы, чего бы это ни стоило, не будет.



РУЧЕЕК

Солнце поднялось над вершинами гор, багровое и чистое, словно его только что отковали, и оно под ударами невидимых молотов брызнуло искрами. Многоцветно вспыхнула роса на траве. Легкие клочья тумана, пронизанные солнечным светом, сползали с гор, застревая в расщелинах и цепляясь за острые каменные выступы и деревья. Внизу шумела Катунь. Слева, если смотреть вверх леса, возвышалась отвесная скала, издали походившая на стремительно взлетающий к небу корабль.

Огромный козел с разбега остановился над пропастью, наклонив голову, отягченную могучими витыми рогами. Несколько секунд он стоял неподвижно, будто окаменевший.

— Го-о... го-ой!..

Это был не голос, голос затерялся где-то в

горах. Это глухо и протяжно докатилось сюда эхо. Козел вздрогнул и вдруг, словно разжавшаяся пружина, взлетел над пропастью...

А над горами, в синем густом воздухе замирало эхо.

Гуркин писал этюд. Глыба серого камня, из-под камня тоненькой жилкой просачивался ручей. Художник спешил закончить этюд, чтобы успеть к полудню спуститься в долину. Работа в это утро особенно ладилась. И оттого, что солнце поднималось над горами такое чистое и что мир был полон необыкновенно светлых и живых красок, что, наконец, работа, как никогда, удавалась, — от всего этого радость переполняла художника, и он готов был подняться на самую высокую вершину и написать весь мир. Он вспомнил, как однажды, рассматривая один из его этюдов, Шишкин нахмурился и коротко, как приговор, объявил:

— Плохо, никуда негодно! В этюде должно быть много воздуха. Чтобы глянул на него — и самому легко дышалось. А здесь сплошное нагромождение деталей. Которая из них важнее?

И немного погодя добавил:

— Художнику всегда хочется объять необъятное.

Может, и прав был Шишкин. Скорее всего, он был прав. Гуркину нередко хочется «объять необъятное», и тогда он работает самозабвенно, захлеб, пишет все подряд, без разбора — деревья, травы, камни... Но ведь Иван Иванович тоже не всегда делал так, как говорил. Он тоже увлекался подробностями, писал все, что видел, словно боясь чего-то недосказать или

быть непонятным. Нет, пожалуй, в основе всего этого лежал труд. Недаром Шишкин любил повторять: «Главный учитель — работа. Вот тебе кисть, вот холст и краски... Учись».

Гуркин спешил. Он словно боялся охладеть и потерять интерес к пейзажу. Тогда, как ни бейся, этюд получится скучным и серым. Он положил несколько мазков, и на каменной глыбе затрепетали синие тени... Вдруг ему показалось, что сбоку, за толстым мшистым стволом лиственницы, зашевелились и раздвинулись кусты и чьи-то глаза стали следить за каждым его движением. Рука Гуркина замерла над палитрой. Легкий шум прошел по верхушкам деревьев, прохладный ветер пахнул в лицо и улегся где-то рядом, запутавшись в траве.

Гуркин начал писать, и чьи-то маленькие пронзительные глаза снова следили за ним. Что за навождение?

— Эй, кто там? — позвал художник.

Глаза скрылись. Гуркин заговорил вкрадчиво и ласково:

— Выходи же, не бойся...

Но никто не вышел. Отдохнувший ветер прошуршал по траве. Умчался.

Гуркин рассказал об этом случае знакомому алтайцу, и тот не задумываясь определил:

— Эрлику, однако, не нравится твоя работа. Лесных духов послал он за тобой следить. Нехорошо, Григор Ваньч, обижать лесного хозяина. Как бы чего не вышло-то!

Но через день загадка объяснилась. Гуркин подкараулил «лесного духа». Это был мальчик лет двенадцати—тринадцати. Худенький, ост-

роглазый, в стоптанных сапогах. Прижавшись спиной к стволу лиственницы, он испуганно и в то же время с любопытством смотрел на Гуркина.

— Здравствуй,— сказал Гуркин.

Молчанье.

— Ты что здесь делаешь?

Молчанье.

— Откуда ты пришел?

Молчанье.

— Как тебя зовут?

— Тачи.

— Ты часто за мной следишь?

Мальчик кивнул головой и, осмелев, сказал:

— Ты ручей взял на свою бумагу, а ручей все равно бежит.

Гуркин рассмеялся.

— Что ты говоришь, Тачи? Это же не настоящий ручей. И вода на бумаге тоже не настоящая. Акварель... краска такая. Это же этюд, картинка маленькая. Потом, может быть, родится большая картина. Понимаешь?

Теперь рассмеялся Тачи.

— Родится картина?.. Хе!.. Жеребенок может родиться, а картина как же?

Он очень долго и внимательно рассматривал этюд и, покачав головой, не согласился:

— Нет, настоящий ручей.

— Но он не шумит даже!

— Почему, говоришь, не шумит? Шумит.

Мальчик стоял, пораженный невиданным чудом. Он с изумлением, любопытством и страхом смотрел, как тонкая кисточка касается бумаги и под ней вспыхивает солнце, струится синий воздух...

Гуркин достал чистый лист и протянул мальчику кисть:

— Хочешь попробовать? Возьми на бумагу вон ту сосну.

Тачи спрятал за спину руки и отодвинулся на почтительное расстояние. В нем, вероятно, боролись два чувства — любопытство и недоверие. Гуркин решил не настаивать, как бы предоставив мальчику возможность самому во всем разобраться. Чутьем художника он разгадал в мальчике дарованную самой природой любовь к прекрасному.

— Не хочешь? Или боишься? — спросил он. — Ну, не надо. В живописи, брат, невольнику делать нечего.

Мальчик все стоял поодаль, не решаясь подойти ближе.

— У тебя отец есть? — не отрываясь от работы, спросил Гуркин.

— Угу... есть, — сказал Тачи и сделал маленький шаг.

— Ваш аил, наверно, недалеко отсюда?

— Близко наш аил, — сказал Тачи и сделал второй, побольше шаг. — За Бишпеком.

— Ого, близко! — удивленно воскликнул Гуркин. — Зачем же ты ходишь сюда?

— А я вчера козла видел, — не отвечая на вопрос, сказал Тачи.

— И я видел. Это ты кричал?

— Нет, это не я кричал. Это эхо кричало, долго кричало...

Гуркин засмеялся. Тачи понял, что бояться этого человека не за что. Он совсем обыкновенный. А на глазу у него почему-то белое пятнышко: однако, он не видит одним глазом. Как

же он с одним глазом такие картинки делает?

Вечером Гуркин в сопровождении Тачи шел вдоль Бишпека и думал о том, что принесет ему новое знакомство. Тропа повиляла среди густых узорчатых папоротников и выбежала на небольшую и такую зеленую полянку, словно ее раскрасили акварелью. Неподалеку от юрты, покрытой корой лиственницы, стоял высокий бородатый алтаец. Гуркин поздоровался и спросил по-алтайски:

— Не ждали гостей?

Человек быстрым, цепким взглядом осмотрел его и ответил:

— Добрым людям рады. Проходи — будешь гостем.

— Он картинки делает, — сказал Тачи отцу.

Низкая дверь висела на плохо оструганных палках. В юрте пахло кислым молоком, дымом и жареным ячменем. Горел очаг. В большом, до черноты продымленном казане, побулькивая, кипел чай. Посередине юрты лежала кочма, озаренная теплыми отсветами огня. Пожилая женщина курила трубку и нанизывала на нитку сухие ягоды шиповника, перемежая их с мелким янтарным бисером. Увидев мужчин, она молча встала и вытащила изо рта трубку.

Ночью Гуркину снился маленький ручеек среди огромных серых камней. Тачи смеялся и пригоршнями черпал из ручья прозрачную холодную воду.

Утром Гуркин попросил хозяина:

— Пусть Тачи ходит со мной. Здешние места он лучше меня знает.

Гуркин хитрил — здешние места он знал хорошо, но ему хотелось взять с собой Тачи. Без особой охоты хозяин согласился, однако заметил при этом, что скоро начнется сбор кедровых орехов и тогда без дела бродить по тайге не придется...

Каждое утро Гуркин и Тачи уходили теперь в горы. От прежнего недоверия не осталось и следа. Мальчик охотно помогал художнику — носил этюдник, менял воду, разводил костер, пробовал писать сам и радовался, когда получалось неплохо.

— Молодец! — хвалил мальчика Гуркин и думал: «Тачи станет художником. Глаз у него острый и душа светлая... Учиться надо Тачи».

Однажды Тачи спросил:

— А можно мне нарисовать ручей? Какой ты рисовал...

— Конечно, можно, — живо отозвался Гуркин. И они отправились на старое место.

Глыбы серого камня. Тоненькой струйкой пробивался из-под камня ручей...

Мальчик писал старательно. Ему хотелось, чтобы «картинка» получилась похожей на ту, которую сделал художник. Хотелось, чтобы на бумаге журчал ручей. Мальчик размешивал на палитре краски и, прикусив кончик языка, осторожно переносил их кисточкой на бумагу. Мазок за мазком, мазок за мазком...

Сумерки надвигались с гор, заволакивая воздух. Гуркин подошел к Тачи и, улыбнувшись, сказал:

— Теперь уже не успеешь дописать.

— Успею! — горячо возразил Тачи. — У меня два глаза, хорошо видят... — И спохватился,

попросил: — Еще бы хоть немножко, вон тот камень...

— Ты должен понять, Тачи, — сказал художник, — не во всякое время можно писать один и тот же этюд. Когда ты писал ручей, камень был светлым, а сейчас, видишь, тени легли... Нужно все начинать заново или отложить работу. Не огорчайся, завтра допишешь.

— Завтра не допишу, — вздохнул Тачи. — Завтра поедем в тайгу. Отец говорит, хорошие нынче орехи.

Возвращались домой поздно.

Первые звезды зажигались над вершинами гор. Прохладнее становилось. Сколько раз, находясь в Петербурге, Гуркин вспоминал горы, тайгу, быстрые алтайские речки, и сердце сжималось от тоски, хотелось на крыльях умчаться домой.

— Тачи, ты слышал что-нибудь про Петербург?

— Петер-бург? Что это такое?

— Город. Большой и каменный весь. Вот когда ты напишешь много-много этюдов, когда окрепнет у тебя рука, мы вместе поедем в Петербург.

Поздно вечером при свете очага Гуркин писал Потанину: «Дорогой Григорий Николаевич, давненько мы с вами не виделись. Наберитесь смелости и загляните в наш глухой уголок. Недели полторы назад заезжал в Онос Шишков, но меня не было. До сих пор жалею, что не увидел Вячеслава Яковлевича. Замыслов у меня, как и у всякого художника, уйма. Задумал картину под названием «Там, где нет человека». Вы уже догадываетесь, видно, что

это будет тайга, глухие дебри. Пишу этюды в разное время дня, ищу и не всегда нахожу нужные мотивы. Но зато там, где, казалось, не ступает нога человеческая, встретил человека. Лесной дух!.. Это мальчик, зовут его Тачи. Он несколько дней следил за каждым моим шагом. Мы познакомились и подружились. Тачи станет большим художником, в этом я твердо уверен. Сегодня он начал свой первый этюд. Этот таежный мальчик, не имеющий никакого представления о законах живописи, удивительно чувствует краски.

Намаялся за день Тачи и спит сейчас крепко, улыбается во сне и что-то бормочет. А я сижу у очага и думаю о том, что, может, через много лет картины этого мальчика сделают честь любому столичному дворцу и музею. Приезжайте, Григорий Николаевич, погода нынче в горах чудесная...»

* * *

В тот день, когда Тачи вместе с отцом уехал в тайгу, Гуркин чувствовал себя неважно. Настроения, что ли, не было — ни один этюд не нравился, все казалось однообразно-серым и неудавшимся.

Вернулся он раньше обычного. И еще издали заметил у юрты какое-то оживление. Перед входом стояло несколько лошадей. Два незнакомых алтайца вышли из юрты, отвязали лошадей и уехали.

Гуркин заторопился. Что-то неладное случилось. Он открыл дверь и увидел Тачи. Мальчик лежал под тяжелой бараньей шубой, блед-

ный, неподвижный, с заострившимся носом. У изголовья стояли отец Тачи и высокий незнакомый парень.

— Что случилось? — спросил Гуркин.

— Вот Тачи... — не глядя на художника, ответил отец. — Разбился. Полез на сосну и упал...

— Зачем на сосну? — не понял Гуркин. — Вы же за орехами пошли...

— Орехи и на сосне бывают... — сердито перебил парень. — Белки запасают. Много орехов можно взять... Мы говорили: осторожно, Тачи, а он упал... Сучок обломился.

Оба они что-то недоговаривали, а может, это только Гуркину так казалось. Он опустился перед лежанкой на колени и не почувствовал дыхания Тачи. Но мальчик еще жил. Ночью ему стало хуже. Он проснулся и долго смотрел на художника.

— Больно очень? — спросил Гуркин, погладив мальчика по голове.

— Ничего вроде... Дышится только плохо. Тачи попытался улыбнуться, но улыбка не получилась.

— Я видел сейчас во сне этот... как его... Петер-бург. Каменный весь... как наши горы. — Он замолчал, закрыл глаза и, не открывая их, сказал: — Я не хотел орехи брать у белки, она ведь на зиму их запасла... Правда?

— Правда. Полежи тихо, потом поговорим.

Отец собрался куда-то, постоял в раздумье около Тачи.

— Поеду за Бишпек к каму, — сказал он. — Покамлать надо. Эрлик, видно, обиделся на нас...

— Кам потребует жертву, — напомнил Гуркин, — а у тебя всего одна лошадь. Значит, последнюю?

Алтаец свирепо сверкнул белками глаз и шепотом, словно боясь, что злой дух подслушает его, ответил:

— И один сын тоже. Коня отдам Эрлику, сына оставлю себе. Добрый охотник вырастет, куранов стрелять будет.

Он помолчал, рассеянно улыбнулся и примирительно закончил:

— Может, картинки будет рисовать, как ты, Чорос-Гуркэ...

Но было поздно.

Тачи не дождался кама.

На другой день Гуркин уехал в Онос.

А весной горная тропа снова привела его в знакомую юрту. Здесь все было так, как и прошлой осенью. Горел очаг. Пахло кислым молоком и жареным ячменем. В задымленном казане, побулькивая, кипел чай. Женщина в выцветшем старом чегедеке смотрела на пляшущие струи огня, держа во рту потухшую трубку. Над низкой деревянной лежанкой висел потускневший этюд. Серая с зеленоватыми прожилками глыба камня и тоненькая струйка ручья. Этюд остался незаконченным. В нем было мало солнца и воздуха. А ручеек так и не сумел пробить себе русло, чтобы слиться с большой речкой...



ТАЙНА СТАРОГО ЛЕСА

— Чорос-Гуркэ... Чорос-Гуркэ... — шепчет кто-то в самое ухо, щекоча его теплым дыханием. Гуркин просыпается и лежит некоторое время с закрытыми глазами.

— Просил разбудить? — спрашивает Сурья. — Вставай, Гуркэ, солнце уже родилось. День хороший будет.

Сурья, покряхтывая (третий день у него болит спина), присаживается к очагу и задумчиво наблюдает, как фиолетово-оранжевые языки пламени «глотают» тонкую щепу... Он не говорит, что дрова горят. Он говорит «Огонь проглотил, съел дрова».

— Ты, Чорос-Гуркэ, не ездь один за реку. Вредная река. Обмануть может... — предупреждает Сурья.

Гуркин с наслаждением пьет густой, душистый чай. Пичи-ой, старший сын Сурьи, поджаривает в большой чаше просо, помещивая его длинной палочкой с кочмой на конце, и острит по-русски:

— Чо там бисать, Гуркэ? Опять картинка бисать?

Сурья собирается на Черби по каким-то неотложным делам и еще раз напоминает:

— Не ездй, Гуркэ, один за реку. Я скоро вернусь.

Гуркин тоже собирается. День такой ясный, солнечный, что не хочется терять ни одной минуты.

— Ну, я пошел, — говорит художник. Мрачная, молчаливая хозяйка равнодушно смотрит куда-то мимо него и, наверное, так, для приличия, спрашивает: «Куда пошел?»

— Осень догонять, — смеется Гуркин. — За этюдами охотиться...

Шуршат под ногами желтые листья, кружится в воздухе сухая, прозрачная, будто сплетенная из тонкого серебра, паутина. Вдали величественно и неприступно громоздятся горы, освещенные солнцем. Бежит навстречу, рассказывая о чем-то своем, задушевном, речка Шевелик. И в ее воде тоже вспыхивают солнечные блески, будто пятна жира.

Гуркин идет вверх по реке, в глубь тайги. Над головой смыкаются кроны. Солнце уже почти не проникает сюда. Толстые корявые стволы сосен покрыты снизу зеленоватым налетом плесени.

Прежде чем взять в руки палитру и кисть, художник достает блокнот и карандаш и, улыбаясь, вспоминает слова Потанина: «Художник совершает преступление, если он старается видеть только то, что просится к нему на холст... Разве можно отразить на холсте всю жизнь — со всеми ее перипетиями и контраста-

ми?..» Прав Григорий Николаевич — нельзя. Почти двадцать лет назад Гуркин уехал из Петербурга, так и не завершив академического курса... За эти годы он обошел весь Алтай, написал десятки больших полотен и сотни этюдов, а земля по-прежнему хранила неисчислимое множество тайн, которые обязательно надо разгадать...

На Енисей художник отправился не только с этюдником, но и с записной книжкой. «Этнографом становлюсь, — с насмешкой подумал о себе Гуркин, — и немножко лириком...» Он сидел на большом пне, похожем на круглый стол, и перелистывал блокнот, страничку за страничкой. Скупые записи вводили его обратно, рассказывая со всеми подробностями и ненужными порой мелочами о прожитых в юрте Сурьи днях.

Их не так еще много, этих дней, и Гуркин по памяти мог бы восстановить события каждого из них, но листать шуршащие, как осенние листья, страницы блокнота все же приятнее.

«...Юрта Сурьи. Мне разрешили здесь рисовать все домашние пенаты. В переднем углу юрты стоит «шире» — своеобразный престол с медными чашками, наполненными просом, ячменем и другими приношениями богам. Интересно, что рядом с бурханами в юрте мирно уживаются шаманские Эрени... Пичи-ой все ждал, когда я буду рисовать их юрту красками.

Вечером юрта освещена фантастическими отблесками пылающего очага. Бурханы охраняют наш покой...»

«...Написал два этюда для картины «Лес-

ная глушь». Сурья увез в Урянхай мою записку — кончились хлеб и свинец».

«...Каждый раз Сурья упрекает меня за то, что хочу самостоятельно перебраться на другую сторону речки.

— У нас, на Алтае, речки, пожалуй, побыстрее, — обиженно говорю ему. Он кивает головой, соглашается:

— Да, да, то у вас... А эта речка хитрая, обманет.

Лодка у него, как старый стоптанный маймак. Да и сам Сурья — худой и костлявый, в изодранной рубашке, которая чудом держится на плечах, — похож на «потустороннего перевозчика душ...». Он доверяет-таки мне шест, и я отталкиваюсь от берега. Слишком медленно плывем. Я изо всей силы налегаю на шест, и ветхое суденышко клонится набок, черпая воду. Сурья спокойно советует: «Не наваливайся шибко, а то дно пощупаешь...»

На другом берегу у старого вывороченного с корнем кедра устроил очаг. Сложил вещи. Натаскал дров и пошел искать мотивы для этюдов... Солнце уже высоко. День ясный. Дует верховка. Енисей течет быстро, ровно, отражая в воде крутой каменистый берег, скалы и деревья...»

Гуркин перелистал блокнот и на новой, чистой страничке сделал короткую запись: «Углубляюсь в тайну старого леса. Старый лес — новые песни осени! Мягкие тени трепещут на выпуклых, будто вылепленных из глины, стволах деревьев. Гирлянды седого мха висят на сучьях... Надо писать, ловить с натуры эту красоту...»

И первый мазок на холсте, как звук рождающейся песни.

Падают на палитру мелкие хвоинки.

Вечером Гуркин возвращается усталый и веселый, как охотник с удачной охоты. Пичи-ой смеется и острит по-русски:

— Чо, Гуркэ, догонял осень?..

Сурья долго и внимательно рассматривает этюды и качает головой:

— Волшебник ты, однако, Чорос-Гуркэ! Тебя шамаи и то боится...

Молчаливая хозяйка носит в юрту сухие сучья. Готовится варить чай. Гуркин лежит на кочме, смотрит, как на потолке юрты трепещут светлые блики, и думает о своей будущей картине. Картина еще не начата, но он видит ее уже законченной. «Надо спешить, надо спешить», — думает Гуркин. Мысли бегут, как быстрая речка Шевелик. Много лет назад Гуркин встретил на одной из многочисленных горных троп доброго, умного человека. Звали его — Вячеслав Шишков. Гуркин подружился с ним. Вместе они бывали в тайге. «Смотри, смотри, какое чудо! — восклицал Гуркин и, наклонившись над россыпью разноцветных камней, гладил солнечные блески, ощущая под пальцами их тепло. — Солнечные камни...» Шишков улыбался и уточнял: «Конгломерат». Гуркин продолжал восхищаться: «Ах, забрать бы всю эту красоту — солнце, воздух, игру света — да унести в мастерскую!..» «И всю зиму писать летние этюды», — добавлял Шишков и смеялся, поглаживая коротко постриженную бородку.

Давно это было, а вспоминается легко.

Шишков приезжал тогда строить дорогу на Алтай. Ох, как была нужна дорога в горах! Теперь Шишков — большой писатель. Хорошие книжки тоже нужны людям...

* * *

— А я сегодня в юрту старого шамана заходил, — сквозь сон говорит Гуркин.

Сурья не отзывается. И Гуркин больше не пристаёт к нему с разговорами. Да и самому страсть как хочется спать. Но из памяти не выходит юрта старого шамана. Ветхая, осевшая на один бок. И множество божков, уже отслуживших свою службу и таких же ветхих, как юрта и как сам шаман. Он лежит в ожидании конца. И даже всеильные боги не могут вернуть ему былую энергию и молодость. Умрет шаман, над ним повесят его обветшалый бубен. А душа его превратится в духа и будет пугать людей, витая в тайге, в сырых мшистых ущельях, как шорох ветра, как журчанье речных струй, как само время... Неудержимое время! Пройдет оно — и на месте старой шамановой юрты вырастут молодые деревья. И дух его потеряет свою силу. И, может быть, не останется никаких тайн. Но одну из них, глубокую, проникновенную, сохранит на своем полотне художник...

* * *

На рассвете, когда с гор еще не сползли туманы, Сурья тронул художника за плечо:

— Чорос-Гуркэ... Чорос-Гуркэ, пора уже. Солнце родиться будет. Поедем за Шевелик.

И Гуркин снова отправляется за этюдами.



ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Бывают минуты, когда вся жизнь предстает перед человеком в каком-то неожиданном и новом свете. И то, что до сих пор было простым и понятным, вдруг утрачивает прежний смысл. Как будто жил человек, ходил по земле и не задумывался — красив он или не красив, потому что не знал своего лица... А когда по-настоящему разглядел его, несказанно был удивлен и разочарован: нет, не таким он представлял себя.

Пожилой тучный человек грузно опустился в кресло. Иван Захарыч привычным движением накинул ему на плечи салфетку и спросил:

— Постричь, побрить?

Клиент медленно повернул голову, с радостным изумлением посмотрел на Ивана Захарыча и воскликнул:

— Ба!.. Ваня! Иван Захарыч!..

— Петя?.. Каким ветром?..

— Попутным. Под парусами.

Они долго трясали друг друга за плечи, смеялись, отступали назад, задавали бессмысленные вопросы и, не отвечая на них, снова принимались друг друга тормошить.

— Ну как ты?

— Ничего.

— А ты?

— Тоже — ничего. Не думал встретить тебя. Вот уже поистине гора с горой не сходится...

Они еще раз внимательно посмотрели друг на друга, словно проверяя, не произошло ли какое-нибудь недоразумение, и вдруг почувствовали — говорить не о чем.

— Может, зайдем ко мне? — предложил Иван Захарыч. — Переночуешь. Старуха рада будет. Поговорим. А?

Петр Григорьевич виновато развел руками:

— Нескладно получается: билет у меня уже в кармане. Командировка кончилась. Через два часа уезжаю.

— Так... — вздохнул Иван Захарыч. — Где же ты сейчас поживаешь, что поделываешь?

Он заправил края салфетки под воротник Петра Григорьевича и, уже не спрашивая «постричь или побрить», взял в руки машинку.

— Живу в Южноуральске, — ответил Петр Григорьевич. — Работаю главным конструктором на заводе. Приезжал, так сказать, с опытом в ваш город...

Петр Григорьевич что-то не досказал, и эта недосказанность провела между ними черту отчужденности. И как ни старались они потом,

позднее, избавиться от этого горького ощущения, но так и не смогли.

Когда Иван Захарович закончил стрижку и стал разводить мыло для бритья, Петр Григорьевич спросил:

— А ты как же это, Захарыч, оказался в этом заведении? — Он многозначительно окинул взглядом крепкую, широкоплечую фигуру старого друга.

— Каждому овощу свой огород... — неловко пошутил Иван Захарыч.

— Помнишь, мы вместе уезжали? Ты в тайгу, на какую-то стройку, а я в институт...

— Это было давно, — задумчиво, словно начиная повествование о прочитанном, сказал Иван Захарыч. — Тогда мне было двадцать лет, всего двадцать!..

Ивану Захаровичу вдруг захотелось говорить со старым другом — да и о чем говорить! Однако он поборол в себе это чувство и даже поехал с Петром Григорьевичем на вокзал. В купе вагона они распили бутылочку красного, но настоящего разговора так и не получилось. Больше говорил Петр Григорьевич. Он рассказал, как война помешала ему закончить институт, как он, майор запаса, вынужден был потом с «зеленой молодежью» доучиваться... Говорил он и о каком-то усовершенствовании паровых котлов, но все это скользило мимо слуха Ивана Захарыча, не доходило до его сознания.

Когда до отхода поезда осталось пять минут, провожающих попросили «освободить вагоны», Петр Григорьевич сказал:

— Ну, когда еще встретимся, старина?

— Гора с горой не сходится, а мы, возможно, и встретимся...

— А знаешь, Захарыч, — хитро прищурился Петр Григорьевич. — Приезжай в Южно-уральск, ко мне на котельный... Выучишься литейному делу, а может, и на мастера... Ты ведь еще, старина, крепкий, как дуб!

— Да ведь я и так мастер, — улыбнулся Иван Захарыч.

— Мастер, да не тот...

Иван Захарыч шел по узкой осклизлой дорожке. Моросил дождь. И было такое чувство, словно этот неприятный осенний дождь никогда не переставал...

Иван Захарыч вспоминал слова Петра Григорьевича и думал о том, что пятьдесят два года при добром здоровье — это совсем немного и что, пожалуй, лет десять он смог бы еще поработать где-нибудь по своей старой специальности. В молодости Иван Захарыч плотничал, но вот уже тридцать лет не выпускает из рук машинку и ножницы... Не выскользнет из его рук и топор, и с молодежью Иван Захарыч еще будет работать без форы...

Эта мысль была дерзкой и неожиданной.

Домой Иван Захарыч пришел веселый и возбужденный, сбросил пальто и, как когда-то в молодости, заигрывая, попытался приподнять и покружить по комнате жену. Анна Дмитриевна по-девичьи зарделась и испуганно замахала руками...

— Что ты, что ты, Ваня!.. Не надо... во мне ведь без малого пять пудов... — и вдруг отодвинула его, сказала сурово: — Ваня!

— Послушай, Аннушка...

Он топтался около и все порывался обнять жену.

— Ваня! — повторила она. — Ты, кажется, выпил?

— Знаешь, Аннушка, кого я встретил сегодня? Петьку Забродина. Помнишь, длинный такой был. Семафором мы его звали, помнишь? Теперь он не такой... Раздобрел, важный стал, главный конструктор... Петр Григорьевич! Вот, Аннушка... вот мы и выпили.

— Боже мой, Ваня, но ты же знаешь, что тебе...

Иван Захарыч приставил палец к губам и умоляюще посмотрел на жену. Она все поняла и замолчала.

— Что же ты его не пригласил, друга-то своего? — спросила Анна Дмитриевна.

— Приглашал. Ехать, говорит, надо... Проводил я его.

Иван Захарыч достал из комода папку и перебирал давно потерявшие всякую ценность бумаги: какие-то справки, пожелтевшие мопровские удостоверения, доверенности...

— И что ты ищешь?

— Ничего. Надо выбросить весь этот хлам...

Потом он достал коробку с фронтовыми наградами — три медали и орден Красной Звезды. Иван Захарыч никогда, даже в праздники, не носил их.

— Прикрепи к новому костюму, — посоветовала Анна Дмитриевна. Иван Захарыч не отозвался, вздохнул и положил коробку обратно.

— Знаешь, Аннушка, — сказал он вскоре, — а не уйти ли мне на стройку... Как ты дума-

ешь? Старая специальность у меня хорошая. Плотники — народ почетный, все дела их на виду...

Анна Дмитриевна внимательно смотрела на мужа и скорбно качала головой.

— Чудак ты, Ваня. Да разве тебя люди не знают, разве ты не на виду?..

Он сердито прервал ее:

— Это не то, Аннушка, понять ты должна. Не то. Вот встретил я сегодня Забродина и разбередил душу... Нет, Аннушка, иначе можно было прожить жизнь... Лучше!

Она не стала возражать и тихо сказала:

— Ложись, Ваня, спать. Это хмель взбудоражил тебя. Пройдет хмель — и все пройдет... Утро вечера мудренее.

Иван Захарыч лег, хотел забыть обо всем и уснуть, но сон не приходил. Лежал, закинув за голову руки, и вспоминал всю свою жизнь.

Необычайно отчетливо вставали в памяти мельчайшие подробности тех дней, когда двадцатилетний Иван Грачев вместе с другими товарищами-энтузиастами возводил в таежных дебрях первые дома, когда усталость валила с ног, а они упрямо шли вперед и вперед, и перед их горячим напором отступала тайга, сдавалась... Помнит Иван Захарыч и тот день, когда начальник строительства вызвал его к себе и сказал:

— У меня к тебе, Грачев, очень серьезный разговор. Садись.

Начальник закурил свою неизменную трубку и начал «серьезный разговор» издали:

— Понимаешь, встречаю вчера блестяще постриженного главного инженера и спраши-

ваю: «Кто это тебя так подмолодил?..» А он смеется: «есть, говорит, у нас такие мастера». Ты, Грачев, хороший плотник, и мы тебя ценим. Но, понимаешь, плотниками, штукатурами, каменщиками и землекопами у нас хоть пруд пруди, хоть огород городи, а парикмахера нет. Девушки еще ничего, обходятся. А ребята... Ты посмотри, на кого похожи наши ребята! Обросли... ну ни дать ни взять первобытные люди... Ну, как, договорились?

— Что вы, — смутился Ваня Грачев.— Это ж я просто так... как умею.

— А умеешь неплохо, — упрямо стоял на своем начальник.— И еще лучше научишься. Пойми, Грачев, это необходимо, очень нужно...

Разговор состоялся утром, а к вечеру в центре поселка была построена маленькая дощатая временка-парикмахерская. Сам начальник принес из своей конторки деревянное кресло: «Жертвую». Кто-то принес старое поцарапанное зеркало и даже флакон одеколона «Фиалка».

Как давно и в то же время, как это было недавно!

Ивану Захарычу показалось, что сама молодость дохнула ему в лицо густым перестоявшимся запахом хвои, таежными ливнями и неповторимым запахом одеколона «Фиалка». Где сейчас те люди, где начальник строительства Кондырев? Может быть, строит новые таежные города, а может...

Последний раз Иван Захарыч встречал его в сорок третьем году. В роту приехал командир полка. Он появился, как снег на голову, поинтересовался самочувствием солдат, пошу-

тил насчет затянувшегося «турпохода». Иван Захарыч впервые так близко видел командира полка, высокого кряжистого человека. В первое мгновение он никак не мог вспомнить, где он встречал его — так знаком был его голос и особенно живые серые глаза. И вдруг вспомнил: «Поймите, Грачев, это необходимо, очень нужно...» Кондырев! Начальник строительства!..

Иван Захарыч подошел к командиру и, сдерживая волнение, забыв о соблюдении субординации, сказал:

— Товарищ Кондырев, а я вас узнал...

Командир полка удивленно и строго смотрел на сержанта, не понимая, что он хочет от него.

— Я вас сразу узнал, — повторил Иван Захарыч. — Вы, наверное, забыли меня? Помните Заурцевскую стройку? Помните, как вы меня сделали парикмахером?..

— Парикмахером?! — лицо подполковника, до того угрюмое и строгое, засветилось мягкой улыбкой. — Постойте, постойте... — Он что-то силился вспомнить и никак не мог. — Постойте, сержант, это вы... да, да, это, конечно, были вы в Заурцеве первым парикмахером. Теперь я вспомнил.

Он долго и крепко встряхивал руку Ивана Захарыча и все повторял:

— Да, да, вспомнил. Интересное это время было, замечательное. Ваша фамилия, если не изменяет мне память, Галкин.

Иван Захарыч растроганно улыбнулся:

— Грачев, товарищ подполковник...

— Да, время интересное было. А вы знае-

те, Грачев, что в Заурцеве построили большущий завод?

— Мне писали об этом.

— Заурцево стало настоящим городом. Да, если бы не война...

Он провел ладонью по жесткой небритой щеке. Сержант находчиво предложил:

— Товарищ подполковник, у меня есть бритвенный прибор.

— Отлично, Грачев! И одеколон есть?

— Найдем, товарищ... подполковник.

После бритья, освеженный и помолодевший, Кондырев по привычке шурился, улыбался и говорил Ивану Захарычу:

— Вы не можете себе представить, Грачев, как это все важно, очень нужно... Я вам скажу по секрету: когда мы в Заурцеве открыли парикмахерскую, общий процент выработки повысился на семь и три десятых процента. Я не шучу, Грачев. Это точно. Я это очень хорошо помню — семь и три десятых процента! Это значит, люди стали боеспособнее...

Иван Захарыч смотрел в темноту и улыбался: семь и три десятых процента!.. Наверное, не случайно парикмахерская, в которой работает сейчас он, построена на окраине города, по соседству с заводскими корпусами. Впрочем, «окраиной» эту часть города Иван Захарыч называет по привычке. На его глазах здесь вырос новый индустриальный центр. Он любит свою маленькую парикмахерскую — в ней есть что-то сродни той, таежной, — и называет ее «рабочей». К нему, словно на огонек, заходят люди мастеровые и в ожидании очереди ведут неторопливые беседы на самые

волнующие темы. Шумной гурьбой забегают парни и просят «сделать их красивыми».

Однажды летом, когда Иван Захарыч уже собирался уходить домой, в парикмахерскую прибежал запыхавшийся паренек, в забрызганной известью и краской спецовке.

— Простите... у меня такой вид! — сказал он и смущенно пригладил пальцами взъерошенные волосы.— Мне бы постричься. Нет, нет, я знаю, что рабочий день закончился, но мне очень нужно...

Он так открыто и честно смотрел своими светло-серыми глазами, что отказать ему было невозможно.

— Садитесь,— улыбнулся Иван Захарыч.— Как подстригать?

— Под бокс.

— Вам больше пойдет полубокс.

— Да? — повернул удивленное лицо паренек и охотно согласился.— Тогда — полубокс.

Разглядывая себя в зеркало, он доверительно сообщил:

— Сегодня у нас комсомольская свадьба... Вот теперь — порядок. Большое вам спасибо!

Домой в тот вечер Иван Захарыч возвращался с необъяснимо радостным чувством на душе.

Потом Павлик (так звали паренька) стал приходить каждую субботу. Иван Захарыч тщательно брил мягкий пушок на его крутом мальчишеском подбородке и шутливо обещал «довести бороду до кондиции».

«Хороший парень, хорошие люди...» — успел подумать Иван Захарыч, засыпая. Хмель сморил его все-таки.

Утро было ясным. Ветки тополя, почти касавшиеся оконных стекол, сверкали серебром первой изморози. Иван Захарыч проснулся с ощущением необыкновенной легкости во всем теле и долго лежал неподвижно, словно боясь все это потерять.

Подошла Анна Дмитриевна и с напускной строгостью сказала:

— Вставай уж. Спишь, как холостяк!..

Иван Захарыч посмотрел на часы. Было двадцать минут девятого. Он впервые так долго проспал.

— Сегодня суббота, — напомнила Анна Дмитриевна. — У нас билеты в театр... Не забывай.

— Не забуду, — пообещал Иван Захарыч и, вспомнив, что сегодня должен прийти Павлик, торопливо начал собираться. Почему-то, как никогда, захотелось увидеть этого парня, поговорить с ним.

Иван Захарыч позавтракал и вышел на улицу. Город уже трудился. Звенели трамваи. На территории котлозавода тяжело пыхтел маленький старый паровозик, толкая перед собой несколько порожних платформ.

Воздух был такой чистый и звонкий, что от него кружилась голова и каждый малейший звук отдавался в сердце.

Уличные часы показывали без десяти девять. Иван Захарыч прибавил шаг. Он любил точность и за всю жизнь ни разу не явился на работу с опозданием.



СТАРАЯ ТЕОРЕМА

Женщина стояла на крыльце и сквозь стекла очков смотрела на Андрея. Женщина была молодая и некрасивая. Нет, скорее, она была из тех, которые с первого взгляда не привлекают.

— Вам кого?

— Анну Федоровну...

Женщина сняла зачем-то очки и сошла на ступеньку ниже. Природа несоразмерно отнеслась к созданию ее портрета — светлые, искрящиеся на солнце, словно пересыпанные золотом, волосы, а глаза большие, черные, лицо продолговатое.

— Анны Федоровны нет, — сказала она и тут же добавила. — Два года как нет...

— Нет?.. — удивился Андрей и вдруг смысл сказанного дошел до него. — Значит, Анна Федоровна...

— Умерла, — сухо перебила его женщина,

словно не позволяя произносить это слово никому постороннему.

И лицо у нее было в эту минуту неподвижное и непроницаемое.

И вдруг она спохватилась:

— Ой! Что же я вас держу у порога! Вы проходите, проходите, пожалуйста.

— Спасибо. Я только на одну минутку...

— Нет, нет, будете гостем, — с неожиданно покоряющей настойчивостью проговорила хозяйка. — Я сейчас вскипячу чай. А вы, наверное, учились у моей мамы? Я так и подумала.

Она торопливо разожгла керосинку, поставила чайник и собрала на стол.

— Моя фамилия Фирсов, — сказал Андрей. — Мы даже не познакомились.

Но он помнил эту женщину. Несколько лет назад, когда Андрей еще учился в школе, она изредка приезжала в Каменку, однажды заходила даже в школу. Она и тогда носила очки, сквозь стекла которых смотрели большие черные глаза. Андрей прозвал ее «городской цацей». Ему в то время было шестнадцать, а ей что-то около двадцати. Андрей знал, что дочь Анны Федоровны учится в институте, что скоро «городская цаца» станет учительницей...

Он улыбнулся, вспомнив все это, хотел рассказать, но не решился.

За столом, когда женщина (ее звали Лариса Викторовна) разливала в фарфоровые чашки крепко заваренный чай, Андрей почувствовал себя неловко и подумал о том, что надо вернуться на станцию и полуденным поездом уехать обратно. Но Лариса Викторовна, слов-

но разгадав его мысли, с той же мягкой ненавязчивой настойчивостью предупредила:

— Вы не стесняйтесь, Андрей... Простите, не знаю вашего отчества.

— Называйте просто Андреем. Моего отца тоже звали Андрей.

— Если хотите, Андрей Андреевич, оставайтесь. Если хотите, — повторила она. — Сейчас самое время для отдыха. И в лесу хорошо... — она вдруг покраснела, словно уличив себя в чем-то недозволенном, и подумала о том, что, может быть, не следовало предлагать ему остаться... Она сказала:

— Через стенку живет одна старушка... комната большая у нее... Вы сможете сколько угодно жить...

Андрей мог бы уйти к знакомым, у него много знакомых в этом селе, но ему почему-то захотелось поселиться у бабушки через стенку и каждое утро встречать Ларису Викторовну. Зачем? Он и сам не знал. Есть вещи необъяснимые.

Андрей остался. Возвращение в город ничего доброго не обещало. Не усидит он дома, непременно заглянет на завод. А там этот злополучный станок... Нет, лучше уж он отдохнет в деревне, на лоне природы, будет ходить на рыбалку. Жаль, что спиннинг не захватил с собой. Главное, обо всем на свете забыть, ни о чем не думать. Отдыхать, отдыхать!..

И все-таки Андрей не почувствовал спокойствия, душевного равновесия. Мысль о станке преследовала его всюду. Где допущена ошибка? Неужели найти правильное решение невозможно?..

Бабушкиной комнатой Андрей не воспользовался. Спал на чердаке. Утром будило его солнце. Тонкими струйками оно просачивалось во все щели. Андрей подставлял под эти струйки ладони и ощущал их теплоту. Потом он слышал скрип лестницы и, затаив дыхание, ждал, когда в квадратном окне чердака появится лицо Ларисы Викторовны.

— Доброе утро, Андрей Андреевич. Я пошла на занятия. Завтрак на столе...

— Доброе утро.

Он не успевал ее даже о чем-нибудь спросить. Он думал, что завтра обязательно встанет раньше Ларисы Викторовны, а назавтра снова просыпал. И снова ждал, когда скрипнет лестница... И снова оставался потом наедине со своими тяжелыми раздумьями. И удивлялся, почему он не может уехать отсюда, ведь ничто теперь после смерти Анны Федоровны его не связывает ни с этим домом, ни с этими местами...

Три года назад, закончив техникум и поступив на завод, Андрей мечтал, если не горы свернуть, то, по крайней мере, полностью механизировать выпуск кирпича. Город строился, кирпича не хватало. А на заводе многие процессы выполнялись вручную, чуть ли не первобытным способом.

— Безобразие! — говорил Андрей старшему механику. — Полуавтоматы бездействуют. Безобразие!

— Мы на эти станки, молодой человек, угрохали уйму денег. В утиль они годны, больше никуда.

— Ах, в утиль! — кипел Андрей. — Вам

денег жалко? А люди? А стройки? Бюрократизм!

Стармех ворочал большой бритой головой, словно проверяя, прочно ли она держится на плечах, и незлобно говорил:

— Забываешься, молодой человек...

И, храня на лице невозмутимо холодное спокойствие, уходил.

В углу цеха пылились полуавтоматы, и Андрей решил переконструировать их. Он еще покажет этому толстолобому стармеху.

Тогда и в голову не приходило, что затея может оказаться напрасной. Все расчеты по усовершенствованию полуавтоматов неизменно упирались в тупик. Андрей бросал и начинал снова. И снова — тупик. Он похудел, словно больной. И, наконец, не выдержал, отступил.

— Все. Точка!

Собрал ненужные теперь листы, испещренные чертежами и расчетами, скомкал и с какой-то злой решительностью бросил в печку.

— Отдохнуть бы тебе, Андрюша, — посоветовала мать. — Взял бы отпуск...

Сцепив за спиной руки, он ходил по комнате, злой и взъерошенный: обидно было, что, не рассчитав сил, заварил кашу и вот — расхлебывает теперь.

— Только и осталось — в отпуск. Двинуться куда-нибудь в тайгу... А может, на Кавказ? В Сочи, в Мацесту... — не скрывая иронии, говорил Андрей. — Ежедневные процедуры, утром гимнастика, морской воздух, после обеда тихий час... Понимаешь, тихий час! А?..

Андрею казалось, что после нашумевшей

неудачи на заводе будут относиться к нему с недоверием. «А что, может, и впрямь взять отпуск?» — мелькнула трусливая мысль. Через неделю он получил отпускные, зашел попутно в парикмахерскую и вернулся домой посвежевший и веселый.

— Знаешь, мама, я раздумал дышать морским воздухом... Поеду в нашу Каменку. К Анне Федоровне. Помнишь ее? Вот обрадуется: бывший ученик приехал! А помнишь, наш домик над обрывом? Он сохранился?..

* * *

Ночью Андрея мучила бессонница. Было темно и душно, как перед грозой. За рекой неутомимо и бесконечно скрипел коростель.

Андрей ворочался, до опьянения курил и думал о своей жизни. Ничего хорошего у него не было — одни неудачи. В техникуме полюбил девушку. Жизни не представлял без нее, а девушка вышла замуж и уехала. После этого Андрей раз и навсегда решил ни с кем не заводить интимных отношений. Друзья смеялись:

— В монахи записываешься?

— Мое дело, как хочу так и жить буду, — говорил и сам себе не верил.

Андрей ворочался и стонал от обиды: «Поговорить бы хоть с кем. Интересно, спит или не спит Лариса Викторовна. О чем она думает?»

Утром он проснулся от привычного скрипа.

— Доброе утро, Андрей Андреевич. Я пошла на занятия. Завтрак на столе...

— А я опять проспал, — с грустной усмеш-

кой сказал Андрей. — Хотел раньше вас встать. И опять проспал...

Лариса Викторовна помедлила и спросила:

— Вам, наверное, скучно у нас... в деревне?

— Нет, дело не в этом. Это ведь и моя... деревня.

Он смотрел на эту молодую женщину и мысленно раскаивался, что не уехал тогда обратно. По крайней мере, он чувствовал бы только горечь от неудачи, а сейчас к этому чувству примешалось еще что-то волнующее и непонятное, как бывает, когда занавес еще не открыт, но музыка уже взяла тебя за душу и зовет вперед, навстречу той жизни, которая пока за занавесом...

Почему Лариса Викторовна не уходит? Большие черные глаза ее как-то необыкновенно светятся за прозрачными стеклами очков. Андрею вдруг захотелось снять эти очки и рассмотреть глаза Ларисы Викторовны поближе... Он даже испугался этой неожиданной и дерзкой мысли. Почему же она не уходит? И Андрей говорит первое, что приходит в голову:

— Вы любите математику?

Она улыбается:

— Я же математик.

— Простите, я забыл.

Андрею отчего-то становится не по себе, он потерянно молчит с минуту.

— Ну, а... скажите, могу я побывать на одном из ваших уроков, — говорит он совершенно не то, о чем думает. — Просто так.

— Ну конечно, если хотите.

Андрею вовсе не хочется идти на урок математики, но отступить теперь уже поздно.

Он вошел в класс с тем величайшим благоговением, с каким обычно входят в комнаты музеев. На него удивленно и настороженно смотрели десятки пар ребячьих глаз.

Последняя парта была не занята, и он сел за нее. Это была обыкновенная парта с откидными крышками, с облупившейся краской, залитая чернилами и во многих местах поцарапанная. Но это была не просто парта, а начало всех начал. Здесь, за этой партой, человек делает свои первые открытия, отсюда он уходит в жизнь. Андрей заметил на парте написанные карандашом и уже почти стершиеся слова. Он с трудом прочитал их: «Правление Менгли Гирея — 1479—1515. Экспедиция Семена Дежнева — 1648. Присоединение Украины к России — 1654».

Андрей улыбнулся, на мгновение представив себя мальчишкой, таким же вихрастым школьником, как сидящий впереди белобрысый паренек, и в довершение ко всему услышал голос Анны Федоровны:

— Сегодня мы повторим пройденное... Три признака равенства треугольников. Кто расскажет первую теорему?

Андрей поднял голову. Лариса Викторовна стояла у доски и вытирала выпачканные мелом пальцы.

Совпадение было удивительным. Три признака равенства треугольников... Он никогда не забудет эту старую теорему. Тогда точно так же Анна Федоровна стояла у доски и ждала, когда Андрюша Фирсов ответит на вопрос.

Он не мог вспомнить ни одного из трех признаков, и Анна Федоровна поставила ему двойку.

— Анна Федоровна, я ведь знал... — горячо, сквозь слезы говорил Андриюшка. — Я забыл! Я вспомню! Поставьте мне точку, а потом спросите...

Но Анна Федоровна была неумолима.

— Точка — это не оценка. Я поставила тебе то, что ты заслужил.

Чувство было таким свежим и глубоким, словно все это произошло вчера.

Лариса Викторовна подошла к столу и раскрыла журнал:

— Гвоздев.

Сидящий впереди Андрея белобрысый паренек встал и пошел к доске.

— Первый признак? — он помолчал, глядя на потолок, точно на нем был написан ответ, и уверенно начал:

— Первый признак. Если две стороны и угол... — он замолчал и уже менее уверенно снова начал: — Если две стороны и угол...

Андрей мысленно подбадривал Гвоздева. Он сочувствовал ему и полностью был на его стороне: «Ну что же ты, ну говори же! Неужели ты забыл...»

Гвоздев молчал.

— Не знаешь? Садись.

Гвоздев обреченно пошел на свое место. Лариса Викторовна обмакнула перо в чернильницу, и рука ее на мгновение застыла над журналом.

Андрей внимательно следил за ней. Казалось, сейчас решается что-то очень важное, от чего зависит многое в жизни.

Перо высохло. Лариса Викторовна снова обмакнула его и твердо вывела двойку.

— Пара! — на весь класс прошептал кто-то. Андрей облегченно вздохнул и увидел, как опустились плечи Гвоздева.

И вдруг Андрей подумал о том, что двойку, которую поставила ему когда-то Анна Федоровна, он так и не исправил... Странное это было чувство... Он вспомнил, как поспешно ушел в отпуск, будто стараясь уйти от трудностей... Сегодня ушел. А завтра?

Он представил себе, как смеется над ним в душе стармех, и ему стало стыдно перед собой, перед своей совестью... «Поставил себе точку. Отступил. Нет, так нельзя. Так нельзя жить», — думал Андрей.

Ночью опять не спалось. Андрей вздыхал и думал о Ларисе Викторовне, о том, что ее, наверное, тоже обходит счастье и что он, сухарь и невежа, ни разу не поинтересовался ее жизнью. А может, так лучше. Какое ему дело до того, как жила и живет эта, в сущности, незнакомая и чужая женщина? Но он думал о ней и чем больше думал, тем меньше оставалось сомнения в том, что он не может, не имеет права оставаться здесь ни одного дня. Что-то случилось, но он еще не знал — что.

— Уеду сегодня. Сейчас же уеду.

...Андрей слез с чердака и долго стоял, не решаясь будить Ларису Викторовну. Было еще совсем рано. Сырой туман пластами висел над землей, и сквозь его тяжелую завесу с трудом пробивался утренний свет. И такая тишина была, словно весь мир погрузился в дрему. Ни звука. Уснул коростель за рекой. Спит, навер-

ное, и Лариса Викторовна. Утром всегда крепко спится.

Андрей постоял еще минуту, потом протянул руку к двери и тихонько, несколько раз стукнул.

Тотчас же в комнате отворилась дверь, и в сени вышла Лариса Викторовна.

— Это я, — сказал Андрей. — Извините, что побеспокоил... Я уезжаю.

Они внимательно смотрели друг на друга, словно хотели прочитать в глазах те очень важные, очень нужные слова, которых не успели или не смогли сказать за все эти дни.

— Уезжаете? Так рано... Вам не понравилось у нас?

— Что вы, наоборот! — поспешно возразил он. — Мне очень понравилось у вас. И вы, Лариса Викторовна... ну, как бы вам сказать... Вы замечательная. И я вам очень благодарен.

— За что же?

Он помолчал.

— Не знаю. Это очень сложно, я не могу вам сразу сказать... До свиданья.

Андрей взял ее маленькую теплую ладонь и крепко пожал. Лариса Викторовна была без очков, и Андрей впервые заметил, что у нее не только большие, но и очень глубокие глаза. Тревожные глаза. И влажные глаза. Это уже совсем неожиданно.

— Если вы разрешите, я приеду еще... Вот переконструирую станки и приеду.

— Приезжайте, — сказала она и осторожно высвободила ладонь. — Если хотите, приезжайте, — повторила она, и Андрей почувствовал в ее голосе просьбу. Возможно, это по-

казалось ему, мало ли что может показаться... Андрей шел бором. Далеко позади, там, где осталась родная Каменка, проснулся и торопливо, будто наверстывая упущенное, заскрипел коростель.

«Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны... Ну, а если они не равны?»

Радостное и беспокойное чувство овладело Андреем. Никогда он с таким наслаждением и полнотой не дышал, никогда у него не было такого огромного неудержимого желания сделать все недоделанное. Это чувство, подобно утреннему свету, пробившемуся сквозь толщу тумана, заглушило в нем все мрачное и распахнуло душу навстречу чему-то новому, еще неизведанному...

Что же случилось? Ведь, в сущности, он расстался с чужой и почти незнакомой женщиной!

**ЦВЕТА́Ы
НА КАМНЯХ**



НАРЯД ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Сентябрь в Приморье называют золотым месяцем. Погода в это время удивительно теплая, воздух пронизан солнцем.

Пеньковые тросы, свернутые в тугие бухты и еще не успевшие просохнуть, пахнут свежей рыбой, краской, морем. Далеко-далеко четко, словно обведенные черной тушью, выделяются на синем фоне скалистые сопки. Неподвижно, будто впаянные в воду, стоят на рейде корабли. Юркие тупоносые буксиры неутомимо бороздят залив, доставляя на корабли почту, продовольствие и переправляя уволенных на берег моряков.

Море задремало у деревянных пирсов и в узких бухточках с грязно-серыми берегами. Чайки, лениво опустив крылья, отдыхают на неподвижной воде. Сохнут, скрючиваясь, выброшенные на берег вчерашним штормом лиловые морские звезды. Штиль. В такую пору меньше всего тянет на размышления. Лежать бы сейчас где-нибудь на берегу и наблюдать, как струится над морем густой и тяжелый воздух.

— Полундра! — доносится с палубы голос. — Варяжский гость пожаловал... Заречнов, покрась-ка ему спину.

«Варяжский гость», огромный кашалот, не спеша плывет мимо стоящих у причала кораблей. Он то погружается в воду, то снова выходит на поверхность, гладкий и лоснящийся.

— Сделай ему татуировку, Заречнов... — советует все тот же насмешливый голос.

Держась за толстые литые звенья цепи, матрос Андрей Заречнов осторожно сползает вниз. Подтягивает ведерко с краской, подвешенное на шкертке, закрашивает несколько звеньев и снова двигается вниз.

Духота невыносимая. Тельняшка липнет к спине. Бултыхнуться бы сейчас в воду, освежиться... Но при одной только мысли об этом голова кружится и сердце неприятно замирает. Густые капли краски тяжело падают в воду, распугивая блестящих стрелоподобных рыбешек.

— Эй, на якорьцепи!

— Ну... чего тебе? — Андрей неохотно поднимает голову.

— Всех медуз пересчитал?

— Тебе не все равно?

— Боцман приказал проверить твою работу.

— Ну и проверяй... Тоже начальство!

Жара разморила матросов, и они переругиваются неохотно, словно бы по какой-то крайней необходимости. А мог бы матрос Заречнов быть сейчас в городе, гулять по тенистым аллеям парка, слушать музыку, танцевать...

Службу на крейсере начал матрос Зареч-

нов неплохо. Старшина однажды при всем отделении сказал: «Если у Заречнова и дальше так пойдет, быть ему классным сигнальщиком».

Флажной семафор Андрей изучал старательно, все свободное время отдавал тренировкам. Поднимется на мостик, взмахнет флажками, и невидимые буквы становятся рядышком, одна к другой... Отставил руки в стороны, на одинаковое расстояние, — буква «А». Поднял руки на уровень плеч — «Т».

Летели флажки вверх, вниз, в сторону...

Летели дни службы. Неделя, другая... месяц.

И вот уже Андрею разрешили сойти на берег. Первое увольнение. Андрей спешил: оставалось несколько минут до построения, а он еще не успел помыть посуду. Андрей бачковал в этот день. Наскоро ополоснув миски, он огляделся (в кубрике никого не было), открыл иллюминатор и... получил наряд вне очереди. Первый наряд.

— Вы что, Заречнов, не знаете корабельный порядок? — спросил старшина. Он спустился в кубрик неслышно и застал Заречнова врасплох.

— Так точно... знаю, товарищ старшина. Только я в увольнение сегодня собирался. Опоздать могу, а вода в бачке чистая...

Андрею казалось, старшина начнет читать длинную нотацию, чего доброго, заставит заново изучать корабельный устав. Но старшина коротко приказал:

— Идите к боцману. Он вам работу найдет.

— Товарищ старшина, а как увольнение?..

— Идите к боцману, Заречнов.

— Есть... идти к боцману.

Вот и все.

Андрей передвигает ведро и осторожно сползает вниз. Цепь медленно раскачивается. Сидеть на ней неудобно и, пожалуй, страшно-вато. Ноги Андрея почти касаются воды. Сверху вода прозрачно-синеватая, поглубже — зеленоватая... А еще глубже — черная бездна.

Андрей вспомнил — однажды, тогда ему было лет десять, он упал с обрыва в речку и едва не утонул... С тех пор он питал к воде глубокое отвращение.

Поздно вечером вернулся из увольнения старшина, сел на краешек рундука рядом с Андреем, сказал:

— Чего зажурился? Много еще увольнений впереди! А первый наряд — это вроде экзамена. — И, понизив голос до шепота, старшина доверительно продолжал: — У меня тоже был... Хлопцы в город ушли, на стадион, а я картошку на камбузе чистил. Тебе какую работу поручил боцман?

— Красить якорьцепь.

— Якорьцепь? За бортом?

Старшина недоверчиво смотрел на Андрея.

— За бортом, — сказал Андрей.

— Но ты же из группы «топориков»... Ты же плавать не умеешь!

— Боцман не знает об этом.

— А у тебя своя голова на плечах есть?

Старшина разделся и лег в постель. Он думал о том, что во всем виноват сам, надо было предупредить боцмана.

— Товарищ старшина, а почему кашалоты

не боятся заплывать в бухту? — вдруг спросил Андрей. — Говорят, у них память хорошая...

— Может быть, — согласился старшина. — Только тебе, Заречнов, не о кашалотах думать надо. О службе.

— А я думаю, товарищ старшина, — простодушно отозвался Андрей.

— За такую отвагу... — старшина сделал ударение на слове «отвага», подчеркнув его иронический смысл. — За такую отвагу надо бы второй наряд объявить тебе, да уж ладно. На первый раз прощаю.

— Спасибо, товарищ старшина. А плавать я обязательно научусь. Как рыба... Вот увидите!

Сентябрь в Приморье — золотой месяц. А в октябре начинаются штормы. В октябре крейсер, прогромыхав тяжелой цепью, снимется с якоря и выйдет в открытое море.

«Счастливого плаванья!» — пожелают с берега, и матрос Заречнов, чуточку волнуясь, взмахнет флажками, начертив в воздухе короткое «Спасибо».

Это будет его первая самостоятельная вахта.



НОВЫЙ СТАРПОМ

Осенью на крейсер пришел новый старпом. Молодой, не по годам суровый, чуточку франтоватый. Форма на нем тщательно подогнана, все, что поддается блеску, ослепительно блестит.

Старпом спустился в кубрик, выслушал доклад дневального, глянул на плохо заправленную койку:

— Чья?

— Старшего матроса Грохото.

Старпом саркастически усмехнулся и сказал одному из матросов: «Товарищ матрос, научите старшего матроса Грохото койку заправлять...»

Он был вечно хмур и немногословен, старпом Гурин, и матросы его побаивались, недолюбливали и сторонились.

И вдруг произошел случай, повернувший события на сто восемьдесят градусов... В сущности, особенного ничего не случилось. Однажды в выходной день, под вечер, Гурин вышел

из каюты и в узком коридорчике лицом к лицу столкнулся с дежурным по кораблю. Дежурный улыбался той хитровато-загадочной улыбкой, которая будто бы говорила: «А я что-то знаю! Хотите, и вы будете знать?»

— Что там у вас? — старпом стоял, заслонив собой узкий проход и слегка расставив ноги, словно боксер, приготовившийся отразить любой удар.

— Товарищ капитан второго ранга, матросы купили на берегу медвежонок. — Просят разрешения зачислить его «на довольствие»...

Гурина показалось, что кто-то жестоко и безжалостно решил пошутить над ним.

Он вдруг ясно представил себе, как огромный таежный зверь свирепо надвигается на безоружную усталую девушку... Гурин оборвал мысль, словно запутанную нить, испытующе посмотрел на дежурного и молча двинулся по коридорчику, вышел на палубу... Минная дорожка сверкала еще непросохшей соляжкой. Крутые бока торпедного аппарата лоснились на солнце... Старпом увидел маленького худого медвежонок. Медвежонок стоял на задних лапах. Матросы громко хохотали. «Балаган устроили. Скоморохи на военном корабле,» — подумал старпом. Матросы расступились и выжидательно примолкли.

— Что это? — спросил Гурин.

— Новобранец.

— Медвежонок, товарищ капитан второго...

— Вижу, что не собака. Что это, я спрашиваю, за новости? Корабль — не зверинец, — сказал Гурин, и мускулы на его крупном лице дрогнули.

— Разрешите, товарищ капитан второго ранга, — попросил кто-то из моряков. — В прошлом году у нас обезьянка жила. Забавная такая.

Гурин обернулся на голос. Высокий худощавый парень в небрежно сдвинутой бескозырке прямо смотрел ему в глаза.

— Как ваша фамилия? — спросил старпом.

— Старший матрос Грохото, товарищ капитан второго ранга. Котельный машинист...

— А-а, помню, помню... Вас научили, старший матрос Грохото, койку заправлять?

Вопрос был неожиданным. Старший матрос Грохото растерянно поморгал длинными ресницами и даже отступил назад. Матросы дружно и охотно засмеялись. Потом, как по команде, снова притихли. Медвежонок принял смех в свой адрес и услужливо встал на задние лапы...

— Хорошо, — вдруг уступчиво сказал Гурин, нахмурился и подумал: «Что хорошего поступать против своей воли?» Три дня назад командир ушел в отпуск, и Гурин исполнял его обязанности. Он мог бы рассказать матросам о том, что ходила по земле веселая красивая девушка, любившая цветы, песни и дальние дороги, и вот нет теперь ее... Как это нелепо и жестоко: был человек — и нет его нигде! Он мог бы рассказать этим в общем-то добрым и умным ребятам о многом, но не рассказал и твердо повторил:

— Хорошо. Пусть живет. Но чтобы поменьше болтался по палубе.

Старпом отыскал взглядом старшего матроса Грохото, усмехнулся каким-то своим мыс-

лям и ничего не сказал. Высокий, прямой, чуточку франтоватый, старпом шел по палубе. «Разрешил, — облегченно вздохнул Грохото и подмигнул медвежонку. — Живи, брат, на здоровье!»

Но матросы понимали, что при первом же удобном случае старпом избавится от медвежонка. От нового старпома всего можно ожидать. Говорили, что капитан второго ранга Гурин недоволен своим положением. До перевода на крейсер он был командиром эсминца, первым лицом на корабле, а здесь... Дошли эти разговоры и до старпома. Гурин усмехнулся:

— Какой вздор! — и печально повторил. — Глупый вздор.

Гурин вернулся в свою каюту, снял китель и закурил. «И кому взбрело в голову купить медвежонка?» Он вспомнил училище. Думал о Маринке. И чем больше думал, тем тяжелее становилось на душе.

Маринка, Маринка, рыжекосая непоседа, несбывшаяся мечта... Гурин познакомился с ней в Москве. Он приезжал в отпуск к отцу, а Маринка в том году училась на последнем курсе университета. Он помнит последний вечер. Звездное небо над Москвой. Влажно сверкающий асфальт. Он сделал ей предложение. Маринка ответила серьезно и решительно:

— Нет, милый Сашенька. Пока нет. Я уезжаю в тайгу с партией, а ты к своему морю. Наши с тобой профессии сродни, бродячие, да не по пути...

— Жаль! — с искренней горечью сказал Гурин. — Мы бы, пожалуй, были с тобой счастливы.

— Не горюй, у нас все еще впереди — и жизнь, и слезы, и любовь... — сказала Маринка и шутливо пропела:

Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой.
Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой...

Гурин открыл иллюминатор. Лениво плескалась у борта вода. Над заливом разносился отрывистый хрипловатый бас вернувшегося из очередного рейса теплохода «Дальстрой». За годы службы Гурин научился по каким-то едва различимым звукам сирен безошибочно распознавать корабли... Его считают на флоте опытным и даже удачливым офицером, забывая, что жизнь заключается отнюдь не только в службе, в знании морского дела и умении управлять кораблем. Никому и в голову не придет, что в личной жизни Гурин несчастлив и нестроен.

Гурин взял со стола письмо, отправленное из какого-то таежного местечка Урзугбай. Письмо было написано незнакомым почерком: «...Случилось несчастье: геолог Марина Волохова отстала от партии и встретила с медведем. У нее не было никакого оружия...»

Буквы расплывались и прыгали перед глазами, как живые.

...Легкая зыбь пестрой рябью перекатывалась по ровной глади. Казалось, море вздрагивает от каких-то постоянных внутренних толчков. Все дальше позади оставался горбатый, издалека похожий на верблюда, остров Аскольд. — Вот уже и чайки отстали. Открытое море.

Сигнальщики внимательно просматривали горизонт, котельные машинисты обеспечивали кораблю бездымный ход, рулевой вел корабль точно по заданному курсу...

— На румбе?

— Сорок семь...

— Так держать!

— Есть так держать!

И вдруг испуганный, не по уставу возглас сигнальщика Андрея Заречнова:

— Медвежонок упал... Медвежонок за бортом!..

Почти в это же мгновение большая сильная ладонь старпома легла на ручку машинного телеграфа, и крейсер застопорил ход. Лицо Гурина было строгим и невозмутимым. Повернувшись к вахтенному офицеру, он коротко приказал:

— Катер к спуску...

* * *

Вечером, когда корабль вернулся на базу, старпом приказал спустить командирский катер и вскоре ушел в город.

А матросы, неведь какими путями разузнавшие о несчастье старпома, приняли решение — подарить медвежонок зоопарку...



ЦВЕТЫ НА КАМНЯХ

Море, оглохшее от ночного шторма, лежало у наших ног. На влажном берегу, как после стирки, пузырились клочья ноздреватой, пахнувшей корабельными трюмами пены... Корабли уходили в море. Шли они в кильватерном строю, стремительные и красивые, как мечта. Мы их провожали с завистью и думали о том, что когда-нибудь и мы будем смотреть на берег с палубы корабля... Когда это будет?

— Товарищ мичман, разрешите спросить... Когда у нас кончится строевая подготовка? Мы же не пехотинцы... Когда мы начнем изучать специальность?

— Своевременно, — отвечает мичман и сдержанно улыбается.

— Станови-ись! Равняйсь! На пра-а... — Мичман несколько секунд смотрит мне в глаза, словно хочет что-то сказать, но раздумывает. — ...во!

Строй, неровно качнувшись, поворачивается направо. Море остается слева. Оно рядом.

Терпкий запах его преследует нас всюду, и мы никак не можем уйти от этого волнующего запаха.

Мы поднимаемся по узенькой каменистой тропке на безымянную сопку. И вместе с нами поднимается солнце. Жарко. Ноги скользят, срываются, и трудно себе представить, как мы взойдем на вершину. До нее не меньше двухсот, а может быть, и четырехсот метров. Подъем с каждым шагом становится круче и тяжелее. «И зачем этот маскарад? — думаю я. — Что изменится от того, что мы поднимемся на эту сопку? Есть же обход, а мы лезем на самую кручу... Зачем?»

Впереди беспрестанно, как маятник, раскачивается широкая, аккуратно обтянутая кителем спина мичмана. Брюки его наутюжены так, словно он на парад собрался. Ненавижу я сейчас эту спину и думаю о мичмане примерно так: «Служака. Аккуратист... Люди для него всего-навсего подчиненные...»

— Подтянись! Петров, у тебя в руках карабин или лопата? — сердито спрашивает мичман, будто не видит, что у меня в руках. Хочется сказать: «Лопата», но я говорю:

— Кажется, карабин...

Мичман молча прощает мне дерзость и советует:

— Не царапай прикладом камни.

— Есть не царапать...

Между прочим, мичман мой земляк. Оба мы с Алтая. Узнав об этом, мичман долго расспрашивал о нашем районе и все просил: «Даты не скупись... подробнее расскажи. Ты ж целину поднимал! Трудно было? Техники-то мно-

го? Совхоз построили? Да ты не скупись, ты в детальках, детальках мне расскажи...»

Почти каждый вечер он мучил меня своими расспросами. Не хотел бы я, чтобы и сегодня мичман подходил ко мне со своим вопросом: «Какие вести с Алтая?»

Никаких. Точка. Служба — службой, а дружба — дружбой. Это я перекроил пословицу на свой лад.

Мы поднялись на каменистую терраску, с которой открылся вид на узкий вход в бухту, огражденный болами. Горизонт был чист. Море бугрилось и вспыхивало белой рябью, словно под водой неумоимо барахтались тысячи живых существ...

— Привал! Можно курить.

Молча закуриваем. Молча смотрим на море. Пахнет смолой и корабельными трюмами.

— Товарищи... — вдруг каким-то необычным, взволнованным голосом произносит мичман. Стоит он прямой и суровый, словно перед присягой. На шишковатом лбу глубже обозначились морщинки.

— Десять лет назад...

— Посмотрите... цветы! — восклицает кто-то. Мы, как по команде, оборачиваемся и видим несколько голубых незабудок, пробившихся хрупкими стебельками из каменных расщелин.

— Цветы на камнях... Удивительно!

— Это не камни, — сказал мичман. — Это могила. Здесь Вася Кипринский прикрыл наш отход... Ему было девятнадцать лет.

Наверное, каждый из нас в эту минуту мысленно представил себе ровесника своего Ва-

сю Кипринского, отдавшего жизнь во имя победы, во имя великого товарищества.

— Сегодня десять лет исполнилось... — сказал мичман и снял фуражку. Мы последовали его примеру — сняли бескозырки. Внизу, под нами, тяжело вздыхало море.

Мичман с минуту постоял молча, склонив обнаженную голову, затем надел фуражку и как-то сразу преобразился: стал прежним, неумолимо строгим командиром:

— Кончай перекур. Станови-ись! Шагом арш!..

Мы шли молча. Раз, два, три... Шаг, два, три... Впереди беспрестанно, как маятник, раскачивалась широкая спина мичмана: влево — вправо, влево—вправо...

— Ну и выносливый же у нас мичман! — сказал я. Никто не отозвался — разговаривать в строю не положено. Мы зашагали четко, не сбивая шаг. Идти стало легче. И песня... песня звучала в моих ушах, и я никак не мог понять, откуда она доносится — то ли рождается в грохоте морского прибоя, то ли в моем сердце... Простая и суровая, как клятва, песня.

Пахло морем. Шли мимо маленького нашего островка корабли. И солнце, как самый верный маяк, указывало им путь...

Мы много раз потом поднимались на сопку, которая отныне уже не была безымянной.



ЭПОХА

Окно моей комнаты выходит во двор. Каждое утро, ровно в семь, я открываю его и вижу, как распахивает оконные створки напротив учитель математики Ребрин. Он щурит близорукие глаза и улыбается.

— Доброе вам утро!

— Здравствуйте, Виктор Силыч. Как спалось-ночевалось, какие сны виделись?

— Удивительные! — говорит он, продолжая улыбаться. — Достойные нашей эпохи.

Мимо наших окон пробегают парни и девушки в комбинезонах и вельветовых курточках на молниях-застежках. Рабочий класс.

Надевая на ходу пиджак, выскакивает из соседнего подъезда рыжеголовый парень. Он вечно спешит. Студент. Будущий инженер.

Бабушка Никифоровна, метко прозванная во дворе Кефириной, несет в сеточке бутылки

с молоком и кефиром. Дворник подметает у нашего подъезда. Бабушка сердито выговаривает ему: «Разве можно по сухому асфальту елозить метлой... Пылищу-то какую поднял!» Дворник уходит куда-то, возвращается вскоре с ведром воды и поливает асфальт.

Бабушка Никифоровна живет со снохой и сыном. Оба они, сноха и сын, работают в проектно-институте. Четвертый в этой дружной семье — пухлощекий любознательный мальчуган Костик. Носок на правом ботинке у Костика всегда ободран. «А почему днем на небе нет звездочек? А если пнуть камень, он полетит как мяч?» Костик ко всему присматривается, до всего дотрагивается. Иногда его занятие прерывает бабушка.

— Костыка, иди кефир пить.

Костик брезгливо поджимает губы.

— Не хочу кефир пить.

— А я говорю иди! Что тебе тетя врач говорила?

— Не хочу кефир пить, — упрямо повторяет Костик.

Степенно выходит во двор мой сосед шестиклассник Ваня Гарин. Ему некуда спешить — он во вторую смену. Ваня держит в руках какую-то сверхоригинальную модель новой ракеты. Вчерашняя не вышла «на орбиту», бесславно погибла: уткнувшись носом в трубу котельной, что через улицу от нас, она долго чадила, распространяя едкий удушливый запах. Но Ваня не сдаётся. Он продолжает искать лучшие варианты.

— Видали? Эпоха! — кричит мне из окна третьего этажа Виктор Силыч.

Он любит повторять это слово. Он говорит, что эпоха прошла перед его окном. Лет двадцать назад мы бегали в этом же дворе с деревянными ружьями. Потом — война. И многим уже не довелось увидеть наш старый двор, задумчивые тополя в белом пуху и милые сердцу детские голоса... «А почему днем нет на небе звездочек? Почему, почему?..» Над дверью одного из подъездов появилась чугунная мемориальная доска: «В этом доме жил Герой Советского Союза сержант Антон Серегин, закрывший грудью амбразуру вражеского дзота...»

Голуби с шумом взмывают в бездонную синеву неба. Однажды Виктор Силыч, открыв поутру окно, увидел, как взлетел в воздух первый «спутник»... Он продержался в воздухе всего несколько секунд. Но видели бы вы лицо Вани Гарина в эти секунды!

— Эпоха! — задумчиво говорит Виктор Силыч и, указав пальцем во двор, где у Вани не ладилось что-то с новой моделью, добавил: — Вот здесь ее истоки. Зайдите на минутку... — вдруг пригласил меня старый учитель. Захожу. Лицо у Виктора Силыча заговорщицки хитрое. Он берет из стопки ученических тетрадок одну и протягивает мне: «Полюбуйтесь».

Это Ванина тетрадь по алгебре. На обложке крупными аккуратными буквами выведена фамилия: «Гагарин». Две первые буквы дописаны явно позднее, другими чернилами.

Вчера вечером Ваня заходил ко мне. Забыв поздороваться, он спросил:

— Слышали? Вот это да!

— Слышал. Здорово!

— Еще как здорово-то! Завидки даже берут... А я ведь, дядя Миша, тоже писал заявление.

— Какое заявление?

— Ну... чтобы в космос первым лететь.

Ничего, полетишь вторым, третьим... двадцатым. Важно, что полетишь.

— Гарин... Гагарин... Дело, конечно, не в фамилии, — смеется Виктор Силыч и вдруг восклицает. — Полетел! Обратите внимание, по всем правилам полетел!..

Мы долго стоим у открытого окна и следим за сверкающей под утренними лучами солнца Ваниной моделью. Она набирает высоту.

Из подъезда выбегает Костик, размахивает руками и радостно что-то кричит. А вскоре раздается сердитый голос бабушки Кефириной:

— Костька, иди кефир пить...

Эпоха... эпоха!

Наш дом похож на букву «Г». Во дворе нашего дома бегают мальчишка, фамилия которого начинается с этой же буквы. Но дело, конечно, не в фамилии.

Шестое августа

Теплый дождь озорным мальчишкой прошлепал по тротуару, развесив на деревьях серебряный бисер... Солнце выглянуло, и все вокруг озарилось, заиграло многоцветьем красок. Красное — на огромных транспарантах слова: «Наша цель — коммунизм». Синее — небо.

Зеленое — деревья и пахнувшая степными ливнями трава.

Девушка, забыв закрыть дверь телефона-автомата, кричит в трубку:

— Костя, билет я уже взяла. Ты слышишь, Костя, поезд уходит в одиннадцать сорок...

Очередь у газетных киосков.

Теснота в автобусах.

Обычное утро. Воскресенье. Шестое августа.

Земля в движении. Земля полна красок, звуков и голосов... И вдруг над всем этим:

— Внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза...

Сообщение ТАСС. Космический корабль «Восток-2», пилотируемый майором Германом Степановичем Титовым, запущен на орбиту.

Площадь становится тесной. Люди взволнованы.

— Говорит Москва...

— Где-то в межпланетном пространстве, преодолев силу земного притяжения, мчится корабль, управляемый человеком... Советским человеком!

— Да ведь я знаю Титова... Степана Павловича Титова знаю! — восторженно говорит невысокий худощавый человек. — Это его сын улетел в космос...

Сидоров Май Георгиевич работает инженером на Барнаульском заводе мехпрессов. А до этого работал в Косихинском районе, в селе Контошино учителем. Это в двенадцати—тринадцати километрах от Полковниково, где живут сейчас родители космонавта.

— Степан Павлович тоже в то время учительствовал, — говорит Сидоров. — Мы с ним частенько на конференциях встречались. Щедрой души человек. Это он первым в районе развел цитрусовые...

— Товарищ Сидоров, а что вы еще знаете?

Сидоров смущенно разводит руками, улыбается:

— Если бы я знал, что сын Степана Павловича станет космонавтом...

Мы пожимаем руку Сидорова. Он смеется:

— За что?

Шестое августа. На листочке оторванного календаря скупые строчки: «1940 — Эстонская ССР принята в состав Союза ССР. Всесоюзный День железнодорожника».

— Внимание! Говорит Москва...

Земля слушает.

Шестое августа. В этот день люди стали намного ближе и дружнее.

Земное притяжение

Поздно вечером, пролетая над Москвой, космонавт Герман Титов радировал: «Все в порядке. Чувствую себя отлично... Вы как хотите, а я ложусь спать. Спокойной ночи!» Звезды каплями росы расплескались по голубой чаше небосвода. Самолет, мелькнув точкой огня, прошел высоко, высоко... Тише!

Тише, земля! Тише, далекие планеты! Тише!.. Пусть спокойно отдыхает космонавт.

И пусть ему там, в космосе, приснятся... земные цветы.

Ведь куда бы ни залетели мы, оторвавшись от родной земли, мысли наши всегда будут подчинены земному притяжению...



ПУД СОЛИ

У него красивое имя. — Родька, Родион. А сам он некрасивый, маленький и большеглазый. Когда составляли список на курсы трактористов, директор остановил строгий взгляд на Родьке, почесал переносицу авторучкой и, вздохнув, сказал:

— Ладно, поработаешь пока прицепщиком.

— Может, запишете? — осторожно попросил Родька. — Пока еще эти курсы... вы думаете, я слабый? Я физзарядкой занимаюсь... Все засмеялись.

— Он даже гантели привез, — сказал Глеб Артюшко и подмигнул молчаливо стоявшей в сторонке Лиде Полдневой, бригадной поварихе. Лида красивая, к тому же единственная

девушка в бригаде. На нее заглядывались. Но объяснить никто не смел, словно боясь нарушить какой-то неписанный закон.

— Ладно, Комаров,— повторил директор.— Поработаешь прицепщиком.

— Ладно. Поработаю.

Родька отвернулся и замолчал. Ему не доверяли. Его считали слабым.

Директор уехал. А вскоре зарядили бураны. Снег лежал в степи тяжелыми неровными пластами. Ветер стучался в дощатые стенки вагончика.

Прошла неделя, а буран не переставал. Эх, скорее бы весна, скорее бы проложить первую борозду на целине! Люди изнывали от безделья. К тому же в бригаде кончилась соль. Каша, которую сварила Лида, была безвкусной. Родька сказал:

— Мысль одна есть. Говорят, снег содержит несколько процентов соли...

Он замотал шею шарфом, натянул телогрейку и вышел из вагончика. Он носил в ведре снег и разогревал его на печке, сделанной из железной бочки. Смотрели на Родькину затею с недоверием и надеждой. Но каша, сваренная на снежной воде, была, как и прежде, до тошноты безвкусной. Лида с насмешкой сказала:

— У тебя, Комаров, сообразительности столько же, сколько процентов соли в снеге.

Сказано это было, наверное, зло и грубо. Родька обиделся и молча лег на топчан, отвернувшись к стенке. А ночью Родька исчез. Лида проснулась и увидела пустой топчан. Выбежала из вагончика и, захлебываясь ветром, долго кричала, звала. Кто-то из ребят попы-

тался отыскать след. Где там! Даже свой след в двух шагах терялся...

— Что делать!

— Искать.

— Ищи ветра в поле, — вздохнул Глеб.

Ночь прошла в тревоге. Лида несколько раз подходила к Родькиному топчану. На постели лежал самоучитель для баяна. Странный этот человек Родька: купил самоучитель, а баяна нет.

Впервые утром Лида не варила кашу. Теперь, после загадочного исчезновения Родьки, ей стало все безразличным: что будет, то будет. Она вспомнила шумный, теплый городок на Украине, маму вспомнила, подруг по фабрике — и тихонько всхлипнула. Глеб, заложив за спину руки, ходил по вагончику: «Эх, лыжи достать бы где!..»

— Может, аэросани?

Глеб оделся, завязал тесемки меховой шапки под подбородком и, взявшись за скобку двери, сказал:

— Пойду, нельзя же так...

Никто не удерживал Глеба.

Тоскливо и однообразно посвистывал ветер.

Под вечер они пришли. Родька, похожий на сплошную снежную глыбу, не вошел, а ввалился в вагончик и медленно опустился на пол. Родьку подняли, раздели и уложили в постель. Пальцы на левой руке у него были обморожены. Их оттирали снегом.

— Гусиного бы сала сейчас... Вот средство! — говорил Глеб, хотя знал, что, кроме подсолнечного масла, в бригаде нет ничего.

Родька очнулся от нестерпимой боли, уви-

дел Лиду, и на лице его изобразилось нечто похожее на улыбку:

— Там мешок... с солью.

Лида подняла мешок, словно взвешивая, и сказала:

— Мальчики, здесь ее целый пуд!..

Она вдруг наклонилась над Родькой и чмокнула его в щеку, потом еще раз... Глеб нахмурился, круто повернулся, рывком распахнул дверь и вышел из вагончика.



МЕТЛАХСКАЯ ПЛИТКА

Шестнадцать девушек, одетых в одинаковые повенские комбинезоны, внимательно слушали прораба. Прораб говорил о том, что город растет не по дням, а по часам, строятся заводы, большие красивые дома и что профессия строителя самая почетная на земле. Об этом он мог не говорить.

— Сами убедятся, — сказала стоявшая рядом с прорабом девушка. Она была красива — белое лицо, густые вразлет брови, из-под которых дерзко, обжигающе смотрели синие, как небо, глаза. Таких любят парни.

Прораб вдруг смутился, покраснел и неожиданно коротко закончил:

— Это Тася Крылова. Она будет вашим инструктором. До свидания.

Прораб ушел. Девушки помолчали, глядя на Тасю. Она улыбнулась:

— Ну, пошли.

Тяжелые «зисы» обгоняли девушек, обдавая их серой колючей пылью. Прямо над голо-

вои разворачивалась тонкая стрела крана, и откуда-то с высоты пятого или шестого этажа, словно с другой планеты, доносился ломкий мальчишеский голос:

— Вира... Вира помалу!..

Объект, где должны были работать девушки, оказался большим и светлым помещением. Огромные окна в ажурных переплетах, высокий потолок.

Разноцветные квадратики были сложены аккуратными горками. Солнечный свет радужно переливался по их полированной поверхности.

— Это метлахская плитка,— сказала Тася.

Девушки брали в руки плитки, они были изящны и легки.

— И работа от вас потребуется красивая,— говорила Тася. — Чтобы плитка лежала аккуратно и не коробилась, чтобы цвет был подобран со вкусом и радовал глаз...

Новеньким казалось, что по ошибке они попали в художественную мастерскую и эта девушка, с дерзкими синими глазами, будет учить их удивительному, сказочному ремеслу.

Тася взяла в руки длинную рейку, положила одну плитку на свежий раствор, потом метра через полтора другую, третью... Заполнила узкое между ними пространство раствором, подровняла рейкой основание и поставила на рейку уровень. Водяной пузырек в стеклянном колпачке качнулся из стороны в сторону и замер в центре, словно застыл. Все это Тася проделала быстро и легко. Девушкам не терпелось так же ловко укладывать плитку своими руками.

Изящная и легкая метлахская плитка! Девушки укладывали ее на цементное основание пола, и было похоже, что они устилали пол солнечными пятнами... Весь мир в этот день сошелся клином. Девушки работали, не разгибая спин, а когда закончили работу, спины, действительно, не разгибались.

Но девушки не думали об усталости. Каждую из них переполняла радость, гордость и еще какое-то необыкновенное чувство, которому и названия нет. Они смотрели на свою работу.

— Пять квадратных метров сделали, — сказала Тася.

— Ого!

— А сколько это — пять квадратов?

— Это и есть пять квадратных метров, — улыбнулась Тася. — Математику-то знаете.

— А если на норму перевести?

Тася не сразу ответила:

— Пять метров — это средняя норма одной плиточки.

— Как одной?! А нас — шестнадцать...

Девушки возвращались в общежитие безнадежно усталые и молчаливые. На новеньких комбинезонах сверкали свежие пятна раствора. Шестнадцать человек сделали за одного...

«Как же нужно работать, чтобы выполнить норму?!» — так думала каждая из шестнадцати. А вслух одна из шестнадцати сказала:

— Ужасно тяжелая эта метлахская плитка!

Тася Крылова улыбнулась: когда-то и она так думала.



ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Автобус подпрыгивал на ухабах и угрожающе кренился. При каждом толчке пассажиры невольно прижимались друг к другу, виновато улыбаясь.

Автобус шел последним рейсом до совхоза. Дорога на выбоинах трясла его, бросала из стороны в сторону, словно испытывая на прочность. А этот старенький автобус, наверное, прошел уже все испытания.

Мимо окон проносился, как в фильме, однообразный пейзаж. Редкие перелески. Багряно-рдеющий куст рябины над речкой. И снова степь, степь без конца и начала. Но постепенно и эта картина исчезла, будто ее старательно затерли резинкой, и все погрузилось в грифельно-серую темь.

Неяркий свет от фар с трудом нашаривал и освещал дорогу.

Мужчина в синем ватнике с мерлушковым воротником раскатисто хохотал и советовал женщинам держаться за воздух... Мужчина

возвращался с совещания передовиков сельского хозяйства. Он, видимо, успел пропустить маленькую и теперь был навеселе. Рассказывал анекдоты. Острил. И хохотал так громко, словно где-то рядом катали железные бочки.

— Слышь, бабоньки, похоже, что мы на Луну летим. А?.. Ха-ха-ха!..

Действительно, создавалось такое впечатление, будто автобус летел по воздуху, но этого впечатления хватало до первого ухаба.

У самой двери сидела красивая цыганка с ребенком на руках. Всю дорогу она молчала. Качала ребенка и молчала. Черные волосы оттеняли продолговатое коричневое лицо. Одна бровь была чуть приподнята, что придавало лицу выражение удивленной сосредоточенности. Ребенок давно уже спал, а цыганка все его качала.

Мужчина несколько раз глянул на цыганку, потом встал и сел рядом. Цыганка не обратила на него внимания.

— Далеко едешь? — спросил мужчина.

Она повела плечами, будто ей зябко стало:

— Туда, где тебя, драгоценный, нет.

Мужчина захохотал, но смех его был сейчас неестественным.

— Режешь, черноокая, как бритва. Погадай-ка мне на счастье. А?

— Не умею.

— Быть не может! Цыганка ведь... А?

— Не умею.

Автобус плыл по воздуху. Ровно и монотонно гудел мотор. Остро пахло бензином. Женщины прикрывали платками рты и морщились.

— Не умею гадать, — сказала цыганка,

перестав, наконец, качать ребенка. — Бабка у меня знаменито гадала, а я не умею.

Она задумалась на мгновение, наверное, припоминая из своей жизни какую-то важную подробность и, вздохнув, сказала:

— Ворожила да разучилась. Война когда началась, мужа моего призвали. Прислал он два письма, а потом как в воду канул. Без известности пропал. Придут ко мне бабы ворожить, а у меня свое горе, своя боль на сердце... Раскину я карты и говорю: «Длинная дорога выпала, матушка, твоему червонному королю, но он пройдет ее благополучно и вернется к тебе жив-здоров...». Гадаю людям, а кто бы самой погадал, горюшко мое развеял... Прослышала однажды, что есть в селе гадалка: нальет в стакан воды, опустит колечко — и вся твоя судьба на виду. Не вытерпела, пошла к ней. Прихожу и глазам своим не верю — баба-то знакомая. Дней пять назад ко мне приходила ворожить. Узнала и она меня, обрадовалась. «Спасибо, — говорит, — тебе. От мужа весточку получила...»

Ребенок почмокал во сне губами и зашевелился. Цыганка смолкла и поправила на нем одеяло.

— Ну, а дальше, дальше-то что?

— Поворожила.

— Объявился муж?

— Нет, так и пропал без известности.

Неловко все молчали. Даже мужчина притих и как-то необычно, пристально смотрел на цыганку.

Автобус резко качнуло, подбросило, и мы, утратив ощущение полета, почувствовали не-

ровности грешной нашей земли. Мужчина все смотрел на цыганку. Упорный, он хотел привлечь ее внимание, а она была, как камень, равнодушна. Грустная. Задумчивая. Красивая. И тогда мужчина, словно преодолев какой-то трудный барьер, осторожно заговорил:

— Горе, оно проходит... А красота остается,

— И красота проходит, — возразила цыганка. — Ничего не остается.

— Тогда скажи: прошло твое горе? — настойчиво спросил мужчина.

— Прошло.

— А красота осталась. Да за такую красоту... — Он не нашел подходящих слов и смущенно умолк. Нахмурился. Цыганка раздумчиво и грустно попросила:

— Не надо об этом... — И вдруг лицо ее как-то враз, словно хлынуло на него солнце, озарилось. — Скажи, драгоценный, сколько тебе годов?

Мужчина радостно заулыбался, стянув за чем-то с головы фуражку.

— Вот это уже дело! Мне, черноокая, сорок первый пошел. А тебе?

— Сорок седьмой.

Он недоверчиво хмыкнул:

— Быть не может!

— Через неделю сорок восьмой пойдет, — сказала цыганка. — Сыну моему уже тридцать. А внуку вот второй годок...

— Сын-то где же?

— На лесозаводе работает. Механик он у меня.

— Вот ведь оно как случается... — вздохнул мужчина, надел фуражку и долго молчал.

Лицо у него было напряженное и строгое. Потом заговорил:

— Прошое лето завели мы у себя в колхозе тонкорунных овец. Знатные овцы. Председатель наш и говорит мне: «Ты, Михей Саввич, внимательностью отличаешься, берись за это дело...» Вот я и взялся. Успеха, значит, кое-какого достиг. На совещании вот отчитывался, опыт передавал... — Говорил он без всякого интереса, чувствовалось, что хочется ему перевести разговор на что-то главное, а это главное всякий раз ускользает от него, и мужчина снова тянет, пытаюсь нащупать основную точку. — Кошары у нас выстроили, что тебе дворцы, хоть танцы устраивай. А кругом озера да поля. Дичи у нас несчетно. Красотища, значит, кругом удивительная. Глянешь — и сердце замирает от такой красоты...

Но он так и не смог высказать главные свои мысли. Не доезжая километров двадцать до совхоза, мы вышли из автобуса. Было темно и прохладно. Далеко-далеко мерцал маленький огонек, а может, это была звездочка, опустившаяся к самому горизонту. Мы шли навстречу этой звездочке. Михей Саввич был необычно молчалив. Словно его подменили.

— Скажи, ты видал когда-нибудь эту... как ее... сикстинскую мадонну? — вдруг обратился он ко мне.

— Картину видел. Это же Рафаэль! Слышал, небось?

Он не ответил и зашагал быстрее.

— Что, тронуло? — спросил я его.

— Обожгло, — признался он и невесело усмехнулся. — Люди пьянеют от этого, а из

меня хмель разом вылетел. Голова ясная, а в душе, значит, переворот какой-то. Случится же такое!.. Только не верится, что ей пятый десяток... Не верю — и все тут.

Последние слова произнес он с нескрываемым отчаянием, голос его дрогнул и сорвался.

— Если бы не последним рейсом шел автобус, поехал бы я до совхоза...— И словно оправдываясь: — Там у меня дела кое-какие есть... Пораньше бы чуток. Да... случится же такое...

— Что же теперь? — спросил я.

Ответа не последовало.

Срывались с крутого небосвода и внезапно угасали звезды.

А звездочка над горизонтом разгоралась все ярче. Мы шли ей навстречу. Она звала нас. Она была, эта звезда, негасимой.



ПАРАДОКС

Ночью бушевала метель. Посвистывало в неплотно закрытой трубе. Старый тополь раскачивался под окном, скрипел и стучал по стеклу голыми обмороженными сучьями...

Не спалось. Гостиничный матрац казался невыносимо жестким. Я вставал, выходил в узенький коридорчик и закуривал. На табуретке у окна сидела хозяйка гостиницы, маленькая, худенькая женщина. Сидела она, подперев ладонями щеки, и неподвижно смотрела в темноту. Что она там видела? Я уходил и снова выходил, а женщина все сидела в той же суровой и неподвижной позе.

— Вы так и не спите всю ночь? — спросил я.

— Иногда сплю, — сказала она. — Иногда

не спится. Старость, видно... Вот и думаю все. Думаю.

Женщина спросила:

— А вы что же не спите?

Мне вдруг захотелось рассказать этой маленькой печальной женщине обо всем, что пришлось пережить за годы еще недлинной моей жизни. Но я не смог рассказать этой женщине о себе, не выслушав ее. Она улыбнулась как-то уж очень грустно, при этом тонкие поблекшие губы ее некрасиво скривились.

— Рассказывать-то и нечего, — глухо проговорила она, глядя в темноту. — Жизнь большая, всякое было... Муж в войну погиб, а я с трехлетним сыном осталась. Одна. Хлебнула горького до слез. А потом сын подрос. Радостнее стало. Надежда появилась. Да напрасная, видно. Витенька-то, как поднялся на ноги — только и видела его... Поначалу письмами извещал о себе, а потом перестал писать. Изредка пришлет денег — вот и все. А что деньги? Женился прошлым летом... Не знаю, что за кралю выбрал. Просила карточку, промолчал. Может, не дошло письмо-то?

— Может... — сказал я, стараясь не смотреть женщине в глаза, словно и я в чем-то виноват был перед ней.

Вскоре по делам службы мне довелось быть в том городе, где жил Витенька. Разыскал его. Детина двухметрового роста, лицо, как говорят, кровь с молоком, плечи — косая сажень. Узнав о цели моего визита, Витенька удивился и несколько раз повторял, видимо, полюбившееся ему словечко:

— Парадокс... Вот это парадокс! Родная

мать жалуется! Чего же от чужих людей ждать? А разве я против закона? Разве я против того, как положено... Может, ей денег не хватает? — вдруг спросил он, и глаза его как-то странно настороженно сверкнули.

— Нет, нет, — поспешно ответил я. — Дело не в деньгах...

Витенька сидел, облокотившись на стол. На его огромной, бугрившейся тугими мускулами руке ярко выделялась синяя татуировка: «Не забуду мать родную».



ТУЕСКИ

Пришло от матери письмо. Обижается мать: что-то, говорит, забыл ты наше Залесье, не наведываешься... Рассказывает о разных разностях, а в конце письма — приписка: «А дед Иван помер на днях. Провожали его всем селом, схоронили без музыки и без слез. Родных-то нет у него, некому и поплакать».

Грустным и незабываемым повеяло на меня от этих строчек. Вспомнились наше маленькое село, тихая речка, задумчивый лес... и белые с крапинками, словно девчонкино лицо в веснушках, берестяные туески. Когда поспевала земляника, мы брали туески и гурьбой отправлялись в лес. «Ау-у!» — зазывали мы друг дружку, обнаружив ягодное место. Ветер услужливо подхватывал наши голоса и мчал через лес.

— У меня с горкой, — радостно объявлял

кто-нибудь. Но без товарищей не уходил. Одну ягодку бросал в рот, другую — товарищу в туесок. Потом шумной ватагой возвращались в село, заходили к деду Ивану, и каждый из нас отсыпал ему горсть чуть примятой пахучей земляники. Для деда Ивана ничего было не жаль. Дед Иван каждое лето дарил нам новенькие туески. Делал он их как-то по-особому, заплетая кромки веселым узором. Так умел делать только дед Иван. Получить такой туесок для нас было праздником.

И вот не стало деда Ивана.

Весной взял я отпуск и поехал в Залесье. От станции до нашего села километров двенадцать, а то и все пятнадцать. Кто их там мерял? Попутных машин не оказалось, и я отправился старым проселком, напрямик через лес. День был солнечный, теплый. Шагалось легко. Вдруг по тропинке выходят трое мальчишек. Картузы на затылках. Поздоровались и проходят себе дальше. А в руках — туески. Берестяные, с узорчатой кромкой... Такие туески только дед Иван умел делать.

— Хлопцы! Кто это вам подарил туесочки? Удивленно переглядываются.

— Никто. Мы сами сделали.

— А кто научил вас делать?

— Санька Полозов. Он их, дяденька, страсть как наострился мастерить.

— А Саньку кто научил?

— Дед Иван научил... Вы, дяденька, наверное, впервой к нам приехали?..

Дорога ведет меня самыми укромными лесными уголками. Тоненькие березки вздрагивают от малейшего ветра, и на ветках, точно зе-

ленные бабочки, трепещут молодые листья. Невидимая кукушка роняет слезы, и они расцветают на лесных полянках хрупкими голубыми цветками... Помню, мы рвали кукушкины слезки, выжимали из них пахучий сок в маленькие флакончики от дорогих духов и дарили девочкам... И еще помню: когда мы благодарили деда Ивана за туески, он в ответ нам тоже говорил: «Спасибо».

— За что, дедушка?

— А за то, что пришли. — И, помолчав немного, дед Иван словно бы подводил черту: — Хорошо это все! Люди-то, чай, и живут для того, чтобы другим было радостно от того, что они живут.



ЗЕЛЕНЫЙ ПОДСНЕЖНИК

Сыну Бориске.

Есть в нашем краю поверье, которое, как золото, не тускнеет от времени и не утрачивает своей первозданной прелести... Маленькое село, в котором я рос, имеет красивое название — Зеленые Ключи. Кто, когда и по какому поводу дал селу такое название — никому не ведомо. Даже дед Евсей, который на вопрос, сколько ему лет, говорит, что «со счету сбился», даже он не знает...

Никаких ключей — ни зеленых, ни голубых — вокруг на десятки километров нет. Только березовый лес, ровный и густой, будто в один раз посаженный, шумит и шумит в ветреные дни... Летом в лесу растет густой папоротник. Среди папоротников прячутся ярко-красные гроздья костяники и ломкие розовые сыроежки.

Весной на солнцепеках, как только растает снег, расцветают белые и голубые подснежники. А есть еще, говорят, зеленые, с золотым отливом подснежники... Их у нас называют «цветами счастья». Но мне ни разу не удалось найти такой подснежник. Может, оттого и жизнь у меня нескладная да неустроенная. Почти все мои сверстники давно «благоустроились», семьи завели, а я, тридцатилетний бобыль, мотаюсь по земле и ничего, как говорит дед Евсей, кроме фантазии, за душой не имею.

— Геолог я, дедушка, — говорю. — А геологу нельзя сидеть на одном месте. Землю надо изучать, клады открывать, такая уж доля у нашего брата, геолога...

Евсей иронически щурит тусклые глаза и смеется, прикрывая беззубый рот маленькой сморщенной ладошкой:

— А где они, клады-то твои?.. Кто их видел? Гео-о-лог!.. Вон Ленька Кривцов, сосед мой, школу закончил и на тракториста выучился... Пашет землю. Тоже, небось, клады ищет... И найдет, Ленька такой — он найдет. Потому как душа у него цветком светится... Этак-то вот! А ты — гео-о-лог!

Евсея не переспоришь: у него свои взгляды на жизнь и поколебать их вряд ли кому удастся.

Весна в полном разгаре. Снег растаял, отшумели звонкие ручьи, и первая травка нежно зеленеет, тянется к солнцу... Дед сидит на завалинке, в подшитых валенках и бараньем треухе, смеется и говорит:

— Подснежники-то теперь в самом цвету. Тут их у нас море несметное. Окиан.

Вот и сходил бы ночью, поискал «золотой» цветок... Может, и посчастливит.

— А ты хоть раз видел этот цветок? — спрашиваю. Дед сердито хмурится, отворачивается и молчит.

Утром по свежей росной траве иду в степь. Встречаю Леньку Кривцова, широкоплечего и до невозможности молчаливого парня. В те годы, когда я учился в школе, Ленька ходил пешком под стол. А сейчас первый тракторист.

— Здорово, Леонид.

— Здравствуйте.

— На смену спешишь?

— Ага.

— А кому это подснежники?..

Ленька краснеет, произносит что-то невнятное и размашисто шагает, удаляясь от меня без оглядки.

Вот чудак! Меня-то не проведешь. Я знаю, кому эти цветы предназначены. И знаю, что ни разу они не попадали по назначению... И Нюра тоже догадывается. Только виду не показывает. Придет вечером замерять пахоту, заглянет в кабину Ленькиного трактора и улыбнется:

— Опять высох букет... Ой, как пахнет!

На стан возвращаются вместе. Молчит Ленька. Нюра посмеивается: «Ох, и несмелый же!..» И первой заговаривает:

— И что ты все молчишь и молчишь? О чем хоть думаешь? Лень, а правда, что будто есть «золотые» подснежники?..

— Может, и есть...

— А ты поищи, Лень. Правда, поищи!

Однажды заболел Ленькин напарник. Бригадир сокрушенно вздыхал и разводил рука-

ми: «Ничего не поделаешь, простой трактора неизбежен... Да время-то уж больно горячее». Ленька ничего не сказал, завернул в обрывок газеты кусок хлеба, положил в карман комбинезона и ушел в степь. Ленька работал ночь, день и еще ночь. Утром никто не видел, как он пришел в вагончик и лег спать. Крепко спал Ленька. А рядом, на табуретке, чуточку увядшие, лежали цветы. Нюра осторожно, будто боясь расплескать неяркие краски подснежников, взяла в руки букет и вдруг воскликнула:

— Посмотрите... посмотрите, зеленый цветок! Ну, правда же, зеленый, «золотой»!.. Неужели не видите? Вот же он...

Мы не видели. Подснежники были обыкновенные, но мы промолчали. Может, не каждому дано видеть то, что видит другой...

Мне вдруг грустно отчего-то становится. Завтра снова я уезжаю в экспедицию, кончился мой отпуск... Через день-другой встретимся с Наташей Горцевой, нашим веселым коллектором... Что я ей скажу? Неужели граница молчания опять будет разъединять нас? И опять я буду успокаивать себя: «У тебя есть планы в жизни. Первым пунктом — диссертация: «Геология строения Средне-Сибирского плато»... Это — главное. А может, в жизни есть что-то более главное, что видит тракторист Ленька и не вижу я.

Утром, уезжая на станцию, я забежал попрощаться к деду Евсею. Он был серьезен. Говорил очень сухо и скучно. О «золотом» подснежнике и словом не обмолвился. Сказал только:

— Ну, геолог, ищи клады...

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ	
Лесной царь	5
Белая ночь	15
Украденный этюд	29
Ручеек	44
Тайна старого леса	55
Вчерашний день	61
Старая теорема	72
ЦВЕТЫ НА КАМНЯХ (короткие рассказы)	85

Кудинов Иван Павлович

ЦВЕТЫ НА КАМНЯХ

Рассказы

Редактор *А. Ореховский*

Художник *А. Святский*

Художественный редактор *Н. Аргудлева*

Технический редактор *Г. Жданова*

Корректор *А. Голубицких*

Сдано в набор 27. IX. 1961 г. Подписано
к печати 28. XI. 1961 г. Формат 70×92¹/₃₂—
4,12=4,82 усл. п. л. (4,25 уч.-изд. л.).

Тираж 30000 экз. Заказ № 2271. АГ 02964.

Цена 13 коп., в переплете 23 коп.

Алтайское книжное издательство,
Барнаул, Максима Горького, 39.
Типография № 1 Полиграфиздата,
Барнаул, Льва Толстого, 29.

23 коп.

АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Барнаул 1961